О-578
ОГЛ.

ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ШЕСТАЯ

ОГИЗ ОМГИЗ · 1947

8.14

1116606 св 2015

Ценный
ф д

ф. П.

О-578

ОМСКИЙ АЛЬМАНАХ

КНИГА ШЕСТАЯ

ф.П. 1116606

Омская областная
БИБЛИОТЕКА
им. А. С. ПУШКИНА

ОГИЗ
ОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОМСК 1947

91

НИКОЛАЙ МОСКАЛЕВ

СТИХИ О ТРУДЕ

КАРТА

Я слышал, что в Кремле в одной из комнат
Развешена на кнопках вдоль стены
(Когда и кем — навряд ли кто припомнит!)
Подробнейшая карта всей страны.

В дни Октября внесли ее впервые
И скоро по холсту во весь размер
Географ вместо прежних букв «Россия».
Как вызов, написал: «СССР»!

Бушует мир, борьбой народной вспенен...

И здесь, у карты, щуря глаз тепло,
На Перекопе точку ставит Ленин
И говорит о плане ГОЭЛРО.

И с той поры растет толпа отметок:
Кузбасс, Магнитогорск, Березники...
По планам и свершеньям пятилеток
Знаком нам почерк сталинской руки!

Да, это он! Окончив день рабочий,
Когда на грани суток спит земля
И, меряя часы московской ночи,
Поют куранты древнего Кремля,

Он, может быть, к ней подойдет, закурит,
Окинет взглядом: велика страна!
Восходит солнце в сопках на Амуре,
А в Ялте — ночь, над морем спит луна.
Любой кружок с событиями связан,
Названья мест — как имена друзей.

Несет Кура седую быль Кавказа,
Хранит легенды белый Енисей.

На полотне все уместилось рядом:
Судьба походов, след победных дат,
Герой Царицын назван Сталинградом,
И дважды обесмерчен Сталинград!

И режут карту красных молний стрелы,
Горит под немцем гневная земля,
Враг мечется, спасаясь, озверелый,
Но хода нет,— затянута петля.

И бой закончен, и назло снарядам,
Еще седые, в пепле и золе,
Восприяли вновь строенья Сталинграда
На мужеством пропитанной земле.

Здесь каждый шаг был боем, каждый врезан
На карту славы. Курская дуга? —
Там снова рожь, там курское железо,
И белых яблонь майская пурга.

И шли на запад русские солдаты;
Страна свободна, скор победы шаг!
И вот он, долгожданный, сорок пятый —
В бетоне и строительных лесах!

И вновь на карте лаконичность плана, —
Такого, что захватывает дух!
Что забываешь о вчерашних ранах, —
Созвездья строек вспыхнули вокруг!

И Сталин улыбается у плана,
И метит он, где новый путь пройдет,
Где заново на месте безымянном
В тайге родятся
город и завод!

И он не спит у карты до рассвета,
И видит, как грядущие года
Идут по площади Дворца Советов
В великом марше славного труда.

КОНСТРУКТОР

Ровно в девять он входит сюда —
В длинный зал на четвертый этаж,
Чтоб до вечера, как всегда,
Взяв отточенный карандаш,
Ко всему повернуться спиной,
А глазами — к широкой доске,
А мечтами —
к великой реке,
К голубому мосту над рекой!

И задача как будто проста:
С этих ватманских белых листов
Вырастает виденье моста
Для грохочущих поездов!

Но решится не просто она:
Слишком вязкое дно у реки,
Мост не выдержат ил и пески,
Велика для опор глубина!

Велика для опор глубина,
Переделать придется расчет, —
Увеличить срединный пролет.

В зале калькой шуршит тишина.

Меж бровями морщинка легла...
Пересчет! И в который уж раз!
Он не может на миг от стола
Отвести утомленных глаз.

Им в обед теплый чай не допит,
Не посолен несоленый суп,
И окурок потухший забыт
Меж упрямо зажатых губ.

Меж бровями морщинка легла...
На виске, возле жилки — пот...
Слишком ферма моста тяжела, —
Не годится!
Опять пересчет!

Нет, он лишнего грамма не даст
В легковесное кружево ферм!
Он — расчетчик и, значит, — фантаст
(Хоть совсем не такой, как Жюль Верн!)
Он предвидит, как поезд помчит
Многоосные тысячи тонн, —
Сталь вздохнет, запоет, загудит,
Заупружит надежный бетон:
(Это нервы его запоют,
Это мышц напряженная дрожь,
Это мысли, что сотканы тут,
Штрих за штрихом ложась на чертеж!)

Гасят сумерки окон стекло.
— Свет включите! Который там час?
Точно внутренним светом зажгло
Огневицу настойчивых глаз!

— Рассчитаю, была не была! —
С легким сердцем и мост не тяжел!
Ночь прошла. Он сидел у стола,
Он шагал и садился за стол.
— Что там в окнах? — Закат иль рассвет.
Гладь реки голуба и чиста.
Он вгляделся: — Висит или нет
Над водой рукоделье моста?

И утихнет бессонная резь,
Если виден рожденный мираж!
По-мальчишески крикнет он: — Есть!
И закинет под стол карандаш.

У МАРТЕНА

Над головой проносят краны
Клокочущую сталь в ковшах, —
Цветет и пляшет свет багряный
На смуглых лицах и очках.

Вон грудой сваленные танки:
Их, убегая, бросил враг.

Не тронь их — все они в грехах,
В крови снаружи и с изнанки!

Где шли они, там гарь пожаров,
И, как преступникам войны,
Им на суде у сталеваров
За смерть не искупить вины!

В огонь! — до страшного нагрева,
Пока не закипит броня.
В серцах рабочих больше гнева,
Чем в белых языках огня.

В огонь! — до белого накала,
Пока не ослепит мартен,
Не потечет струя металла,
Как кровь течет из вскрытых вен!

В огонь, чтоб из разбитой летки
Сталь ринулась желта, как медь,
Отлиться в формах пятилетки,
Под молотами зазвенеть!

В огонь, чтоб закалялась вера,
Что Завтра лучше, чем Вчера.
Мы плавим «Тигры» и «Пантеры»
На кировские трактора!

УРОЖАЙ

Над полями дует ветер,
Жарко. В небе нет ни птицы.
Захлебнулся что ли хедер
Золотой волной пшеницы?
Нет, он режет без ошибки
И подбористо и скоро.
И счастливая улыбка
На губах у комбайнера.

А земля-то! — без предела
Улеглась под сине небо,
Точно мать, похорошела
От родившегося хлеба!

И комбайны, как по струнке,
Бреют степь ножом проворным, —
Скоро тесен станет бункер
Рассыпающимся зернам!

— Расстилайся, море-поле,
Гляну — глазом не окину!
Эй! Заснули вы там, что ли,
Подгоняй грузить машину!

Да вези на элеватор,
Все бери, еще подкинем!

Облаков краснеет вата
На закатном небе синем.

Жнет от зорьки до заката,
Почерневший от загара,
Комбайнер: еще не сжатых
Сколько ждет его гектаров!

Даже спит он у комбайна,
Снов не видя. А приснится,
Так все тот же клин бескрайний
Да созревшая пшеница!

ПОЕЗД

Локомотив толчком некрепким
Подал назад, и в тот же миг
Удар по буферам и сцепкам
Пронесся с лязгом и затих.

И легкими вздохнув стальными,
Храпя от силы и огня,

Железный конь рванулся в дыме,
И машинист повел коня.

Вперед!
Из тендерной коробки
С лопатой кочегар спешит —
И пламя паровозной топки
Проглатывает антрацит.

Быстрей, быстрей разгон удалый,
Все чаще, чаще, чаще шаг.
Назад бегут столбы, сигналы
И ласточки на проводах.

Вперед!
Просторы перед нами
Трепещут, в марево уйдя,
Где тучи плавают с хвостами
Пятиминутного дождя.

Туда! — где за дремучим бором —
Сады, где избы, — как грибы
Куда далеким коридором
Уходят рельсы и столбы.

Вперед! —
металл поет на звеньях
Блестит река, мелькает мост,
Чуть видится на закругленьях
Вагонов бесконечный хвост.

Навстречу нам состав грохочет,
И, точно старые друзья,
Они друг другу прохохочут —
И дальше —
в разные края.

И километры — за минуту,
И ветер в волосы и в грудь.

Тяжеловесному маршруту
Открыт тысячеверстный путь!

ЛЕСОРУБЫ

В серебряных морозных латах
Деревья замерли в бору,
И снег свисает с лап мохнатых,
И солнце кровянит кору.

Зима! Колдующая дрема!
Но эта сказка не по мне.
Вот рядом слышен звон знакомый —
Весна стучится в тишине
(Там кто-то помнит о весне!)

Ни ветра, ни зверей, ни птицы, —
То люди.
Старый лесоруб,
Заткнув за пояс рукавицы,
Сосульки стер со щек и губ
И прыгнул от сосны с разбега
В сугроб, крича: «Пошел! Пошел!»

Стряхнув с вершины тучу снега,
Шатаясь, накренился ствол
И лег. И годовые кольца
Блеснули каплями смолы,
Руками гладят комсомольцы
Еще горячий след пилы:
— Отменный комель!
— Корабельный!
— А как, старик, рассудишь ты?
— Наш матерьял-то? Как же, дельный
Хоть в самолет, хоть на мосты!
Богатство-то какое, лес-то!
Ребята, говорю всерьез:
На свете нет другого места,
Где бы такой лесище рос!

— За пилы!
Вслед упавшим соснам —
Еще сосна, еще сосна.
— Спеши!
Грузовиком трехосным
Пробьется к вырубкам весна.

И нет ни колдовства, ни дремы,
Но, сам в поту, к стволу прильнув,
Я слышу говор пил знакомый
О том, что скоро — лесосплав.

НА РАСКОПКАХ

Здесь город был, теперь здесь голо
И ветром камни обожгло,
Здесь время все перемололо,
Покрыло пылью и ушло.

Седые своды древних арок
Седой полынью поросли,
А я неведомый подарок
Ищу с киркой во тьме земли.

Ты улыбнешься: «Разве дело
Минувших дней искать следы?
Их быль давно окаменела
И стала мертвенней руды.

Ты видишь: только перегноем
Дошли их страсти, думы, сны,
Зачем же их мы беспокоим,
Когда и мы обречены?»

А я отвечу: пусть остыли
Мечи, светильники, зола,
Но здесь мечтали и любили,
Здесь жизнь в бессмертие вошла.

Здесь раб, расписывая фрески,
Ослеп, не заверша трудов,
Чтоб мы воздвигли в славе, в блеске
Дворцы свободных городов.

Браслеты, кольца и запястья
В резьбе, в исканьях красоты, —
Так, значит, здесь искали счастья,
К которому стремишься ты.

И, значит, ты теперь шагаешь,
Где до тебя народы шли, —
Ты за столетья отвечаешь,
Наследный гражданин Земли!

ЛЕТЧИК

Взлетный путь аэродрома
Набежит и уплывет,
С гулким рокотаньем грома
Ты срываешь самолет.

И, взлетев, идешь над краем
И сечешь небесный дым,
Только солнцу досягаем,
Но никем не победим.

Плоскогорья и пустыни
Под тобой кружатся вспять,
Ты стремглав ныряешь в сини
Крылья звонкие купать!

Гордым целям и усильям
Подчиняя боль и страх,
Ты даешь орлиным крыльям
Человеческий размах!

Где ж предел? Каким пределом
Сила неба и земли
Угрожать решится смелым,
Чтоб ее не превзошли?

УТРОМ

Утром воздух чист и звуки гулки,
Мир моложе, молодость свежей,
Утром солнце рвется в переулки,
Вспыхивает в окнах этажей.

От росы ожили даже камни,
В порах тротуаров — пух травы,
Под мостом звучней поет река мне,
Над карнизом больше синевы.

Все легко, доступно и желанно,
Тучи исчезают в светлой мгле,
Голова трезва, а сердце пьяно,
Сердце пьяно жизнью на Земле!

МЕТЕЛЬ

Ты о чем с утра поешь и пляшешь,
Танцовщица белая метель?
Северная, что ты мне расскажешь,
Звездочки роняя на шинель?

Что встречала там: оленьи нарты?
Стойбище ль тобой заметено?
Иль ребят увидела за партой,
Налетя на школьное окно?

Иль взяла случайно на заметку,
У тайги повременивши миг,
Что на волка в первую разведку
Вышел парень — бывший фронтовик?

Или в пляске кружевным подолом
Зацепила рослые скирды?
Пирогами пахнет дым по селам,
Там встречают, понимаешь ты?

Видно долгожданные вернулись, —
Вон как заливается гармонь;
Ты несешь, подхватывая, с улиц
Переливный песенный огонь.

И летишь, растрепанная, в поле,
С визгом, смехом, в снеговой пыли
Прометать сугробное раздолье
Урожаем грезящей земли!

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

(РАССКАЗЫ

ДОМА

Поезд пришел в Омск утром и прогромыхал по знакомому красному мосту через Иртыш, с которого открылся вид сразу на весь город. Заводские трубы усердно дымили в просторное небо, из пестровато-серого кочкарника городских построек там и сям вздымались большие дома, встречая поезд сосредоточенным взглядом сотен стеклянных глаз.

Матвей, толкаясь и задевая вещевым мешком за полки, протиснулся в тамбур вагона. На него ворчали:

— Будто не успеет человек: стоянка сорок минут!

А он думал про себя:

— Знаем мы здешние порядки, помним. Тут успевай!

И еще поезд не остановился, а он соскочил с подножки вагона и побежал занять очередь в трамвай...

— Эге, народцу богато в очереди. Но солдат в народе не пропадет!

Уже из трамвая разглядывал вокзал. Все такой же: белый, приземистый, оглохший от сутолоки и шума старик. А что-то новое надо бы заметить.

Матвею на пристань, а трамвай дошел до управления пароходства и завернул обратно по кольцу вокруг дома с вывеской «Прокурор».

— Вот тебе и новость! Шагай-ка, друг, пешком на пристань!

Здания на улице Ленина побелили, он и не припомнит, чтобы они когда-нибудь так сияли... Разрослась зелень. Движение большое, автомашины разных марок: и свои, и американские, и трофейные.

— Так, так! Вот это не плохо!

И тут же в глаз попала соринка.

— Э, черт, и каждый раз на этом самом месте: дымит здесь ТЭЦ мелким, колючим пеплом... По правде говоря, никогда Омск не был благоустроенным, по-настоящему красивым городом: и пыльно в нем, и грязновато. Да Омск-то тот — свой город! Знакомишься с человеком в далекой стороне и прежде всего вопрос:

— Чей, откуда?

— Омский! Прежде всего омский, а потом уже район, поселок... Скажем так: бывают отцы и получше твоего. Да ведь свой-то отец — один! Есть и в Омске кое-что, чего нет нигде больше. Взгляни из самого центра, из городской сутолоки, на Иртыш. Река широка, а за ней еще шире степь. Уходят вдаль столбы и далеко-далеко на горизонте дымит паровоз, на край света тащит поезд, такой же, с которым только что приехал Матвей... Просторно душе, жару и пыль перестаешь замечать... Где еще такое?

На пристани пришлось почти сутки ждать пароход... Думы все те же. — Ехал на войну — заранее знал все: как сядет в трамвай, и как выглядит вокзал, и какие женщины будут провожать эшелон. Все так и было. Точно. А хотелось встретить хоть что-нибудь непредвиденное, не то, что было.

Едет с войны. И словно бы опять встречает все известное, заранее и давно предвиденное, а вот чувствует: чего-то он не замечает... Вспоминает снова и снова семью. Неужели увидит завтра-послезавтра и Елену и ребятишек?

Последний год вышла заминка с перепиской. Матвей два раза менял адрес. И теперь не знает, что встретит дома. До войны Елена работала счетоводом на участке леспромхоза. Ценили ее: работник хороший. Ну, уж до чего беспокойная! Как годовой отчет — ночи не спит, волнуется. Все ей думается, что напутала где-то. А муж в это время хлебает или совсем несоленый, или горький, как рассол, суп!

«Последний год! Хватит! Отчитаюсь и уволюсь!» — всегда говорила Елена. Ребятишек надо обшить, корову переменить — Пеструха стала стара, надо телочку вырастить. А там смотришь — директор уговорит еще на полгода остаться. И все торопилась, все торопилась. Бывало в кино, в клуб соберутся и то чуть не бегом...

И вся-то Елена — приятная, чистая, но непрочная. Некрепко росла на земле, как гриб сыроежка. Таким трудно пришлось во время войны! Матвею тоже всегда было некогда: работал он бригадиром по транспортировке леса. И тоже — все собирался пойти на другую должность, поспокойнее. Торопились оба и все ждали каких-то перемен. А жили дружно. Бывало, принесет Елена работу домой, и сидят они вместе всю ночь, щелкают костяшками счет, открыжпвают записи и документы цветными птичками. Под утро Елена приготовит что-нибудь повкуснее. Подаст винца. Скажет: сегодня заслужили. И еще сидят, едва не последнего часа сна лишают себя разговорами.

На другой день в голове немного шумит от бессонницы, а самому приятно так, и смотришь на все вокруг спокойно: словно все еще горит перед глазами уютный огонек пузатой восьмилинейной лампы...

Ребятишки-то узнают ли? Старшей, Наташке, было шесть лет, когда уезжал. Теперь в школе. Отличница! Неужели завтра увидит отличницу свою?! Серьезная, уроки учит... Пионерскими делами заправляет! Эх, время, время! Шагает и ни снарядом, ни смертью его не остановишь, не пригнешь! А младшего — годовалого Мишку — больше помнит по запаху; пахнул он сырым яйцом, особенно голова с бесцветными, жидкими волосенками.

Через день Матвей сел на пароход... Плывут справа и слева зеленые берега Иртыша, остаются за кормой, набегают спереди... Много земли исходил Матвей за войну тяжкими солдатскими путями. Три раза был ранен и навек запомнил кустарнички и ложбинки на той земле, где оставил часть своей крови, но простор своего края прочнее всего вжился в Матвея. Встречал он другие земли и хуже и лучше, но все они укладывались в эту его землю; ею мерил он все, что встречал и знал: потеряешь ее — и не с чем будет подойти к жизни, нечем измерить, сравнить и все тогда станет бесцветным, безликим.

На своей пристани Матвей узнал: попутный катер только что ушел.

— Вон он, — сказал ему старик-сторож пристанского склада, указывая палкой вниз по течению. — Вон он, твой попутный катер... Видать еще у острова... Ка-

бы ты поторопился сбежать с парохода — успел! И до твоего леспромхоза он десять верст только не доходит. Ты эти десять верст за милую душу пробежал бы, служивый! А теперь вот седай у меня и жди погоды...

Матвей сел на бревно у воды и долго сидел, раздосадованный своим опозданием и тревожимый чем-то неопределенным... Вот едет он по своей земле, всюду встречает то знакомое, которое и должен был встретить, а перемен, происшедших без него, не рассмотрит. Ведь знает, что они есть, но в чем тут дело — не поймет. А раз не поймет, не рассмотрит — то как же подступиться к гражданской жизни, ставшей для него новой? Как найти в ней себя?

Прошел по реке терпеливый буксир. Вверх по воде медленно протащил воз из четырех тяжелых барж. Промчалась моторная лодка, вспенивая воду острым носом. Развернулся недалеко от Матвея и стал подваливать к берегу катер с белой рубкой и желтым металлическим корпусом. В корпусе утомленно еще отбивал последние такты мотор, а потом и совсем заглох. Стало тихо; только вода журчала у борта, да в рубке глухо гудел, сетуя на что-то, низкий мужской бас. И в ответ этому басу вдруг раздался другой, странно-знакомый, голос. Говорила женщина: «Все бы тебе торопиться, Митрич, все бы скоро... Да не здорово! На скорую-то руку знаешь как: бей, ребята — подается, бей — хорошо подается, бей — здорово подается! Стой, ребята, — лопнуло! Отвоевались — теперь нужна надежность. Надо и жить и работать, работать так же... Так что ли, Митрич!?».

И Елена вышла из-за рубки, ловко бросила к ногам Матвея чалку и крикнула:

— Эй, там, на берегу — прими чалку!

Матвей стоял неподвижно, руки по швам, и растерянно глядел на жену. А она, не узнавая его, вдруг рассердилась:

— Да ты что, солдат или пень? Не можешь спину согнуть! Прими чалку, говорят тебе!

И, мгновенно изменившись в лице, тихо проговорила:

— Матвей, Мотя! Как же это?

А катер уже сносило вниз по течению и чалка уползала в воду...

Елена обрадованно закричала:

— Чалка-то, Мотя. И не видать чалку-то, Мотя!

1116606

Тогда он бросился в воду, чуть не по пояс, схватил легость, подтянул катер. В твердом брезентовом костюме, пахнущая бензином, сквозь который пробивался ее собственный запах, давно забытый и сразу воскресший запах их семьи, Елена с мокрыми глазами обнимала мужа:

— Мотя, Мотя! Да как же так?!

Через час катер пошел в леспромхоз. Оказалось, Елена работает на нем старшиной: выучилась за войну. Сидя в рубке рядом с женой, которая одной рукой держала штурвал, а другой его руку, Матвей говорил:

— Какая ты стала у меня крепкая. Сыроежкой была,— теперь гриб боровик! Оба мы боровики, как погляди! Я пока тебя не увидел — сомневался: понимаешь — не разгляжу чего-то в гражданской жизни! Тебя увидел — все враз разглядел.

— Чего, Мотенька?

— А ты пойми... Ну-ка?

Елена на мгновение задумалась.

— Поняла...

— То-то... слышу, а ты в катере: «подается, подается — стой, лопнуло!» Слова те не женские.

— Это я мотористу. Митричу. Он все торопится, ему бы все кое-как, поскорее. Трос от рулевого управления связал кое-как. Перевязать заставила.

— Крепко?

— Надежно, будь спокоен!

За бортом проплыл бакен. Его ударила волна, и до тех пор, пока был виден белый треугольник, он все маячил, качался, словно вслед катеру кто-то взмахивал платочком...

ХЕЛЬМА

Поезд на Таллин отходил с Балтийского вокзала в девятнадцать пятнадцать.

Леонид воспользовался несколькими часами, чтобы побывать на Петроградской стороне. Больше всего нравилась она ему — негромоздкие, складные дома, много высоких деревьев, а главное — по пути Нева. Величавая и нежная, стальная и голубая Нева! Есть или нет на свете другая, еще красивее?

Разве спрашивают об этом, когда глядят такой в лицо?

Разве упреком ей будет, что другие больше обласканы солнцем, что радужнее смотрит небо на них, что больше песен поется им?!

Еще в госпитале, в длинные часы раздумья, вспоминал Леонид ее и становилось легче на душе: повидал-таки. Когда же на костылях стал приползать к набережной, — смотрел — не мог насмотреться; хотел запомнить на всю жизнь и ее и себя вместе с ней.

Двенадцатым номером трамвая Леонид приехал к Елагинским островам. Бледная, тихая зелень словно опустила в воду каналов часть своих красок. Отражения были скромные, спокойные и, казалось, проникли всю толщу воды.

Заполнив горбатый мост нестройными рядами, разомлевшие на прогулке, шли дети — детский сад. Их сопровождала волна безмятежного лепета... Безмолвие легко отступало в стороны, в сумрачную глубь островов.

Леонид с соседнего моста долго следил за детьми, пока последний карапуз с матросской шапочкой в руке не скрылся за углом пестрого, приземистого дома.

— Вот и кончилась война! Мир!

Нева, город, острова, детишки и своя часть — своя дивизия и полк расположились где-то в эстонском городке без маскировки, без боевого охранения, с полупустыми зарядными ящиками подле начищенных до блеска пушек.

И не верится, что этот красавец-город пережил сорок первый, сорок второй, сорок третий годы и вот спокойно и радушно живет в августовский день, который разве только мертвые, очнувшись, могли бы разглядеть весь: от земли до неба.

В тихом прозрачном дне есть оттенки, видимые одному Леониду, потому что он ведь тоже воскрес из мертвых... Был такой случай в жизни — это не редкость в военной судьбе, — когда он переставал жить. Но сейчас, под этим солнцем, не хочется вспоминать... Забыть нельзя — не забудешь; тот, другой день, своим утренним туманом, мыслями и болью впитался в кровь и мозг; не забудешь его так же, как не забывает свое увечье калека, как ученый не забывает своего открытия, ради которого он существует на свете.

Время прошло незаметно.

Перед отъездом Леонид собирался побриться, не успел и так щетинистый приехал на вокзал.

У платформы стояли вагоны. Белые дощечки русскими и латинскими буквами извещали: поезд «Ленинград — Таллин».

Перрон оказался переполненным публикой, особенно военными. Их было так много, что приветствовать старших по званию не было никакой возможности, и офицеры смотрели друг другу через головы, минуя погоны, и громко разговаривали с провожающими.

Только когда на перроне появился генерал — высокий, пожилой человек с бритой головой, все, кто видел его, стали говорить тихо и становились «смирно».

Но общее внимание привлекали, несмотря на толчею, необычного вида молодые люди — девушки и юноши. Ясно было, что это физкультурники: синие костюмы лыжного образца, белые воротнички, белые тапочки на ногах.

Они ходили, взявшись за руки, по три-четыре человека. Им уступали дорогу. Они говорили не по-русски, и на них смотрели благожелательно, добродушно, как смотрят иногда у нас на чужое, но такое чужое, которое заведомо не принесет зла.

Все они были без головных уборов, белокуры и только изредка встречались среди них шатены.

Вскоре уже все знали, что это эстонские физкультурники возвращаются к себе на родину со Всесоюзного парада в Москве.

И генерал, тоже эстонец, провожает своих земляков. Физкультурники молодые, ловкие. Синие костюмы будто вливали в них эластичность. Юноши и девушки много смеялись, но, чувствуя общее внимание к себе, все-таки держались с достоинством.

Они показали себя и поглядели других, им было о чем рассказать дома, тем более, что до войны они только год прожили в Советской Республике и не так уж много успели увидеть...

Во всяком случае парад с двадцатью тремя тысячами участников — зрелище занимательное в одинаковой степени и для Эстонии и для Америки.

Получилось как-то так, словно все присутствующие на перроне хотели проводить физкультурников, даже те, что сами ехали в Таллин.

Возможно, физкультурники этого не чувствовали.

Когда поезд медленно тронулся, они долго бежали по платформе и один за другим вскакивали на подножки, а когда паровоз дал уже полный ход, — высовывались из окон до пояса и махали руками друг другу из вагона в вагон... Они разместились в двух вагонах — впереди и сзади офицерского, в котором ехал Леонид.

И вскоре в офицерский вагон вошли две девушки, физкультурницы, которые хотели пройти вперед. Вошли очень осторожно, с серьезными лицами. Одна несла в руках гитару, другая корзиночку с едой... Одна белокурая, другая шатенка, и волосы у обеих прибраны в редкие сетки. Но передний тамбур офицерского вагона оказался крепко закрытым, как ни пытались они открыть дверь — плечами и руками, поставив на пол свои ноши, — ничего не помогало. Тогда, поговорив тихо и торопливо, с особенным, присущим эстонским женщинам приятным, певучим выговором гласных, они не без смущения отправились обратно.

Но заминка у дверей привлекла к ним общее внимание. Посыпались веселые реплики, приглашения остаться здесь и, когда они прошли почти весь вагон в обратном направлении, в проходе встал какой-то лейтенант и заслонил им дорогу. Они остановились перед ним в замешательстве, не находя достаточного запаса русских слов и не имея смелости прибегнуть к жестам.

Сразу из нескольких купе с ними заговорили. Они отрицательно пожимали плечами и повторяли:

— Еске! Еске![1]

Тогда кто-то осторожно взял у них гитару и заиграл фокстрот «Пеликан», кто-то протянул им руки и они, вопросительно посмотрев друг на друга, вступили в танцы.

А физкультурницы вагона, который шел вслед за офицерским, решили, очевидно, что их подруги неплохо проводят время среди своих товарищей. Двери офицерского вагона открывались все чаще и появлялись другие белокурые девушки с удивленными лицами... А их уже ждали, подхватывали и танцующим парам стало тесно в проходе вагона.

Недоставало переводчика.

---

[1] Еске—не понимаю.

Пришел юноша, демобилизованный сержант эстонского национального корпуса Красной Армии. Он переводил, четко выговаривая русские слова, но очень медленно. А нуждающихся в услугах переводчика было много — каждая пара хотела познакомиться.

Наконец, появилась еще одна девушка, очень изящная и очень белокурая. Ее спросили, знает ли она по-русски.

— О, да, конечно! — ответила она. — Не совсем! — И этим рассмешила всех, даже своих подруг.

Вокруг нее — ее звали Хельмой — быстро собралось много желающих прибегнуть к ее услугам и просто познакомиться с ней. Пройти по коридору стало совсем невозможно.

Леонид все это время, и на перроне и в поезде, по-прежнему ощущал то особенное настроение, которое овладело им еще на Елагинских островах, а теперь тоже хотел подойти к ней. Но это было нелегко и даже неприлично: протискиваться среди веселой компании. Он с трудом пробрался в свое купе.

А тут как раз Хельме дали гитару. Она тоже вошла в купе Леонида и села рядом с ним, настраивая гитару... Тотчас же все купе оказалось заполненным офицерами и физкультурницами. С первого взгляда стало ясно: эта девушка из тех, которым всегда оказывается невольное внимание и со стороны старых друзей и случайными знакомыми.

Хельма спела несколько простеньких, мелодичных песенок. Они вышли у нее так непринужденно, так приятно, что ей долго с восторгом хлопали, не сомневаясь, что снова услышат ее. И она еще и еще раз повторяла, хотя добрая половина слушателей ни слова не понимала по-эстонски. Потом к ней присоединились другие девушки, пели втроем, вчетвером. По-эстонски спели «Катюшу», «Широка страна моя родная». Это вызвало взрыв приветствий. А вскоре те же песни спели все, по-русски и по-эстонски сразу.

Издавна знакомые песни Леонид услышал в необычном исполнении, но они выражали тот же смысл и от этого стали особенно дорогими. Он хотел подтянуть — не получилось...

Его это не смутило, даже приятнее было оставаться слушателем, чем быть участником хора. Песни казались ему продолжением дня, начатого утром в Ле-

нинграде, дня, волнующего недодуманными мыслями, нечеткими, но такими свежими ощущениями.

Он смотрел на белокурую девушку, ждал удобного момента, чтобы заговорить с ней, но не торопился и даже не стал обижаться на судьбу, если бы этот момент и вовсе не наступил. Он смотрел на нее. Уже то, что такая свежая, голубоглазая, изящная девушка существовала на свете, пела его любимые песни, и война на ней — жительнице многострадального Таллина — в течение нескольких лет не могла оставить хотя бы одной сколько-нибудь заметной морщинки, или отпечатка задумчивости во взгляде, как неотступного воспоминания о тяжелом прошлом, — уже это было чем-то очень особенным, уже этого было достаточно без ее слов, обращенных к нему. Война, события, которые потрясают миллионы людей — не могут заслонить единственное горе, горе одного человека. В этом Леонид убеждался не однажды. Не раз он видел людей на пепелищах своих жилищ, матерей с мертвыми детьми на руках. Но, очевидно, война не в состоянии была заслонить также и радости одного человека. Должно быть это так.

И вот это он встречает в первый раз.

За окнами лежит искалеченная земля... Воронкам от снарядов и авиабомб так тесно, что они сливаются местами в громадные черные букеты. Противотанковые рвы извиваются по склонам возвышенностей, торчат столбы и крестовины с обрывками колючей проволоки. Камнями и рыжей обнаженной землей выдают себя замаскированные эскарпы. Там и сям возвышаются обожженные корпуса танков, стволы орудий неподвижно уставились в одну точку, как будто приготовились ждать целую вечность, пока в этой точке не покажется та цель, по которой они должны все-таки открыть огонь...

Вагон трясет... Путь уложен из коротких обрезков рельс; немцы, отступая, рвали каждую рельсу на стыке и еще по середине... Рядом тянется насыпь прежней дороги, продырявленная норами немецких дзотов, видна их внутренность: накаты, нары, деревянные столы, приделанные к стенам наглухо. Кажется, даже в вагоне пахнет зверем, жившим в этих норах.

Груды зеленоватых, словно заплесневелых гильз от крупнокалиберных снарядов часто встречаются вдоль

полотна. Железные балки перекрытий скорчились на кирпичной россыпи здания, далеко отброшен расплющенный бак водонапорной башни... Металлическая ферма моста поднимается из темной воды быстрой речушки...

И он, Леонид, вышел из этих развалин живым. А незнакомая девушка не видела и не видит этих развалин...

Давно ли думалось о жизни без войны, как о чем-то запретном?! Если такая мысль и появлялась, то отвлеченно... Так было год, два, три... и только когда повеяло близкой победой, тогда стало возможным допустить эту мечту. А девушка никогда не помышляла о смерти.

В Гатчине поезд стоял полчаса. Над гладким пустынным асфальтом возвышались строгие шеренги хвойных деревьев. Уже смеркалось и нельзя было различить — сосны это, или ели; а за деревьями, тоже строгие и высокие, стояли остовы дворца, сквозь оконные и дверные проемы которого видны были другие, тоже мертвые, кварталы, освещенные красными лучами гаснущего солнца.

С приходом поезда ожил перрон, показалось, будто часть Ленинграда переместилась сюда.

Раньше всех из вагонов высыпали физкультурники. Девушки — гости офицерского вагона — оживленно рассказывали подругам должно быть что-нибудь о своих новых знакомых. Леонид тоже прошелся по перрону взад и вперед несколько раз и вдруг сообразил, что ведь Хельма может больше не вернуться в его вагон!

И он бросился в купе, торопливо, словно подозревая пропажу чего-то очень ценного, сорвал с чемодана чехол, открыл его и достал стеклянную банку с вареньем. Это было редкое варенье из морошки, присланное ему с родины в посылке. Он хранил его бережно, намереваясь открыть банку при встрече с друзьями по части. Потом он снова вышел из вагона и, разыскав взглядом Хельму, облегченно вздохнул. Ее окружили физкультурники, и вся компания смеялась. Хотя она была ростом самой низкой среди товарищей, все-таки он сразу ее увидел и узнал не то по прическе, не то по голосу.

Леонид подошел к ним.

— Извиняюсь, — сказал он, приложив руку к козырьку фуражки, — вы ничего не забыли в нашем вагоне?

Хельма быстро провела по карманам шаровар, быстро коснулась сразу нескольких рук своих собеседников, заменив этим прикосновением слова: «обождите одну минуточку», и вышла из их круга.

— Ничего, — ответила она Леониду подумав и, слегка разведя руками, договорила: — Нечего.

— Нет, забыли!

— Нет, нечего! — повторила она тоном, не допускающим возражений, но и не прерывающим начавшегося разговора.

— Забыли! Были в гостях и забыли... выпить чашку чая!

— О! Я очень знаю! В Москве обижались, когда мы не могли пойти в гости с чашкой чая... Но поверьте, я совсем хорошо кушала...

— Нет, нет! Идемте, Хельма!

В купе Леонид подал ей чайную ложку, она ногтем мизинца удалила с нее какую-то соринку, сказав: «В дороге все может быть» и совсем нежеманно принялась за чай... Она не скрывала своего восхищения от совершенно незнакомого ей вкуса засахаренной морошки и только повторяла:

— О! Скажите, как называется?!

Леонид не пил чай, но по выражению ее лица ощущал вкус варенья, казалось, больше, чем если бы, не торопясь, кушал его сам. Смотреть на нее было приятнее, чем пить чай, так же как и слушать ее голос, а не петь с ней вместе, полчаса тому назад.

Соседи по купе — двое, свесив головы с верхних полок, и один старший лейтенант-танкист, сидя против нее, очевидно, испытывали точно такое же ощущение и вместе с ней уговаривали Леонида:

— Скажите, капитан, что это за райское кушанье?! Не мучьте нас! Скажите!

Этот терпкий, ни с чем несравнимый вкус, казалось, мог улетучиться каждую минуту, и нужно было успеть насладиться им... Право же, никогда еще Леонид не ощущал так полно его прелести!

Потом они вышли в коридор и, прислонившись плечами к раме темного окна, разговорились.

Хельма, медленно подбирая слова, рассказывала о Москве.

— Какой город! О, какой город! Мы слышали куранты. Широка моя страна. Было так много молодежи! Мы заняли один место.

— Вы, вероятно, что-нибудь слушали в Москве? В Большом театре?!

— Конечно, «Лебединое озеро». Это... о! Но вы меня не понимаете! Эстония один место. Нет, не понимаете... Тогда я подумаю, как сказать.

Полузакрыв глаза, она долго молчала.

— Один, два, три — двадцать место, мы самое одинное место. Нет, не понимаете?

Было видно, как старалась она всем существом найти нужное слово. Леонид догадывался, но намеренно молчал, наблюдая, как она ищет это слово. Когда она, кажется, уже нашла его, он поторопился сказать первым:

— Ваша команда заняла на параде первое место?! Так?!

— Конечно, так! Первое, самое первое! Конечно!

Он узнал, что в этом году она кончила гимназию. До десяти лет училась в школе, где все преподавание было на английском, и вполне свободно говорит на этом языке. У нее отец — врач в Таллине, и она уроженка Таллина. Скоро она поедет в Тарту, в университет, окончит его по философскому факультету — это больше всего подходит к ее склонностям, а потом напишет работу на магистра. Она это сделает. А предстоящую зиму будет усиленно заниматься русским языком и весной уже совсем свободно сумеет говорить на нем и перейдет в университете в ту группу, для которой лекции читаются по-русски. Так больше смысла: богатая практика.

Хельма говорила медленно, но охотно, опускала большие ресницы, отыскивая слова, находя их, широко открывала глаза и улыбалась, обнажая крупные, чистые зубы, радовалась. Чему? Должно быть не столько своим словесным находкам, сколько за слушателя, который мог услышать ее и понять.

Ей пришлось очень много увидеть за эту поездку: парад, Москву, Ленинград и такую большую страну, где сутки езды в поезде считается «близко» и в вагонах сделаны кровати!

Она была радостно удивлена всем тем, что ей пришлось увидеть, и Леонид подумал:

— Вот встреча! Она переполнена одними впечатлениями, он другими, наверно, именно поэтому девушка кажется так хороша, так приятна?!

И он окинул ее взглядом еще раз от маленьких ног до необычно белокурой головы, проследил за ее сдержанными, но выразительными жестами, прислушался к интонациям голоса, которые, кажется, возможны для других только в минуты очень задушевного настроения, а для нее — это обычный тон, и снова подумал:

— Нет, это не временное состояние, в котором человек хорошеет. Такая она всегда. Новая родина обласкала ее с первых же шагов. Но приятной она была всегда. В сорок первом, сорок третьем, сорок пятом году. Она создана для того, чтобы быть приятной!

И вдруг разговор, который вел с ней Леонид, показался ему слишком малозначащим. Ее голос, подкрепленный такими мягкими, но законченными жестами, должен был сказать что-то особенное. Иначе — к чему он?

Что сказать?

Может быть как раз то, что он еще с утра не мог произнести для самого себя, когда встретился с Невой, с Ленинградом, с тишиной Елагинских островов и взморья, а вспомнил дымный, накрытый канонадой город, госпитальную койку, костыли?

Неожиданно для самого себя, он прервал ее на полуслове, в то время, как она говорила о своей будущей профессии философа:

— Скажите, Хельма, вы видите что-нибудь за окном?

Нисколько не удивившись, она очень внимательно взглянула в темное стекло и сказала:

— Нет.

— А я вижу. Вижу танки, колючую проволоку. Развалины.

— Разве? Это интересно... Впрочем вы — военный... а я ничего не вижу. — Хельма улыбнулась, как улыбаются девушки, когда с трогательной наивностью сами говорят о своих недостатках.

Они надолго замолчали. Вагон трясло на стыках. Свет матовой лампочки тускло освещал лицо Хельмы

и еще удлинял ее ресницы. И, повторяя ее слова, Леонид сказал, наконец:

— Разве? Это интересно... Впрочем, вы и не увидите ничего. Увидите, может быть тогда, когда станете солидным, седым философом! Но ведь вы и не поседеете, блондинка!

— Как вы шутите. И еще «седым». Это как?

— Ну... с волосами, белыми от старости...

— Это когда человек очень старый. И ему все равно, видеть или не видеть. О, я боюсь таких людей: я хочу видеть такие города, как Москва, Ленинград! Такие есть еще... у нас в СССР?

— Будут. Киев, Севастополь, Сталинград.

— Не шутите! Я хорошо знаю географию! — погрозила она пальцем. Вы — москвич?

— Нет. Сибиряк...

— Сибиряк! О!.. Но, знаете, меня не удивите: на параде были все. И сибиряки. Хорошие мальчики...

Она запнулась, догадавшись как-то, что последние слова ее звучат несколько вульгарно.

— Хочу сказать по-другому... и взяла себя пальцами за тонкую шею, словно хотела подтолкнуть затерявшееся в горле слово...

— Не надо! Я вполне понимаю... Вы, значит, знаете, что и в Сибири хороший народ?!

Он дотронулся до ее руки и стал говорить ей о Сибири, вкладывая в рассказ от себя то, что так хотел услышать и не услышал от нее.

Утром Леонид сошел на узловой станции, а поезд со спящей Хельмой скользнул и скрылся между двумя аккуратными сосновыми лесками.

Те полчаса стоянки на узловой станции, которые тянулись долго, пока стоял поезд, а вместе с поездом исчезли сразу, словно их не было, Леонид ждал, что, может быть, проснется и выйдет Хельма, но она не вышла.

Из ее вагона выпрыгнули физкультурники, человек пять — шесть, после сна свежие и румяные. Среди них был и вчерашний переводчик-сержант. Он подошел к Леониду и, поздоровавшись, сказал:

— Вы сходите, капитан? Хельма обещала познакомить нас с вами.

— Я говорил ей, что схожу здесь. Разве она этого не знает?

— Она обещала познакомить, когда вы приедете к ней в гости в Таллин. Вы скоро приедете?

— Обещал.

— Она будет очень рада.

— Почему вы думаете?

— Она сказала так.

— Как?

— Так сказала.

— Ну, все-таки? Какими словами?

Молодой человек задумался, прищурив глаза, и отчетливо выговорил:

— Она сказала: «Я очень хочу спать. Но этот военный, его можно слушать до утра. Это еще один сюрприз чудесной поездки. Очень, очень милый! Он приедет ко мне в Таллин. И я вас познакомлю с ним». Так она сказала, если я что-нибудь не забыл. Хорошо она сказала? Сейчас она спит и, наверно, видит вас во сне.

Он засмеялся, потряс руку Леонида и прыгнул на подножку вагона.

И вот снова под серой, мягкой пеленой туч появлялся день... Несмотря на ранний час, за торговыми столами стояло много женщин, предлагая кисель, яблоки, вареных раков.

Леонид пошел в город. В управлении военного коменданта он застал только дежурного старшину, и тот ничего не мог сказать относительно месторасположения части, которую разыскивал Леонид.

Ничего не оставалось делать, как только бродить по улицам городка. Большие дома в центре были разрушены, но в общем опрятный серый городок сохранился. Серыми здесь были остроконечные крыши, крытые оцинкованным железом, и кирпичные стены, облицованные цементным раствором, а деревянные — выкрашены в серовато-синий и лишь изредка — темножелтый цвет. Серый булыжник, между которым пробивалась тонкая травка, покрывал улицы. Перед окнами домов росли ягодные кустарники, яблони с неяркой листвой и цветы, белые, чаще всего георгины, а окна были задернуты кружевными занавесками, за которыми чувствовалась безупречная чистота комнат, и все казалось,

что вот небольшая рука отдернет кружево и появится в окне Хельма.

«Это еще один сюрприз чудесной поездки. Очень, очень милый!». Так она сказала, эта девушка, которая никогда не поседеет.

Если окажется, что его дивизия расположена где-нибудь здесь, поблизости, Леонид в час дня поедет в Таллин, к ней.

Снова быть с ней рядом, и грузиться в приятность, которая вокруг нее

Не он один испытал к ней такое чувство, — уж такая она есть!

Она рассказала вчера о крестьянине, у которого случайно провела как-то день на хуторе, единственный день вне дома, если не считать вот этой поездки в Москву, день — такое событие в ее жизни, что она говорит о нем, словно о невероятном приключении. И тот крестьянин, конечно, испытывал ее приятность.

И старики-профессора Тартуского университета, которых она будет слушать, а потом сдавать им экзамены, тоже будут испытывать ее приятность.

Но вот она сказала «Это еще один сюрприз»... Слова, которые кое-что значат.

Такой был вчера день: чувство лета после войны, и любуешься летом, а в кармане, в руке зажат камешек, из развалин громадного мертвого корпуса на Обводном канале. Мало этого: ленинградский день был только частью значительно большего настроения. Настроения, в котором слышались звуки из фокстрота «Пеликан» и певучие гласные в говоре эстонской девушки, в ее песне о нашей широкой стране; чувствовался терпкий запах морошки, как будто не ягода издавала аромат, а время, час, для которого Леонид берег заветную баночку; и, наконец, сквозь звуки и аромат проступали еще ее громадные ресницы, ее синий костюм, одетый словно на ожившую скульптуру, каждым своим движением сдержанно радующуюся обретенной свободе этих движений.

И тут же присутствовало молчание опрокинутых ржавых танков с крестами на боках, все еще карауливших свой миг.

Об этом он и хотел рассказать ей вчера, но не смог, она не поняла, а невысказанные слова все-таки сделали

свое дело: создали для нее «еще один сюрприз». Поехать к ней и попытаться еще раз рассказать. Поймет?! Поймет или не поймет — все равно! Только бы удалось поехать!

При втором посещении коменданта, Леонид застал его. Невысокий, плотный подполковник посмотрел документы Леонида и сказал:

— Дивизию свою вы проехали. Обратным поездом на Ленинград всего час езды. А у вас еще отпуск не использован — можно гулять три дня.

Это было как раз то, что требовалось. Оставалось только подготовиться к таллинскому поезду: позавтракать и побриться.

Завтракать Леонид зашел в ресторан «Норд». В небольшом помещении круглые мраморные плиты столов были приделаны к толстенным сосновым обрубкам с темной корой. Стульями служили такие же пни поменьше размером, покрытые на торце кожей. Под потолком тянулась мертвая ветвь сосны, без хвои с зеленоватым мхом, похожим на водоросли.

Эта необычная обстановка привлекала больше внимания, чем завтрак, которым подкрепился Леонид.

Парикмахерская находилась недалеко от ресторана, на стыке улицы с небольшим переулком-тупиком.

Помещение парикмахерской было просторным, со сплошным зеркальным поясом вдоль стен и бледносерыми деревянными креслами. Усевшись в кресло, Леонид сказал:

— Побриться! — И, проведя по голове рукой, добавил: — и подстричься тоже!

— Хорошо! — ответила парикмахерша-эстонка и принялась за работу.

Она работала быстро и молча и только, уже причесав его волосы, сказала:

— Такой молодой, — а фрицы оставили след, чтобы девушки смотрели и знали...

Она имела в виду красное пятно на подбородке и части правой щеки — след осколка зажигательного снаряда. Пятно не было заметно, когда он не брит. Теперь оно засверкало... Может быть, пятно будет неприятным для Хельмы? И ему захотелось обратиться с чем-нибудь обидным к парикмахерше. Он спросил ее:

— Много фрицев побрили вы в этом кресле?!

Спокойно, подняв на него глаза, она ответила:

— Ни одного... Я стреляла их в партизанском отряде.

— Вот как! На вас не похоже... внешне. До свидания.

Он неловко и торопливо расплатился, вышел на улицу, продолжая думать о пятне, словно оно только что появилось. Когда Леонид, волнуясь, рассчитывался в парикмахерской, он против обычной своей привычки опустил руку в левый нижний карман френча, в котором никогда не носил денег. И пальцы встретили вдруг незнакомый предмет, холодный и аккуратный, что-то такое, что обязательно связано с Хельмой. На улице на Леонида взглянуло ее смеющееся, безупречно-чистое лицо из миниатюрной записной книжечки в белом эбонитовом переплете.

Снова Леонид шагал по серым улицам. Он свернул между разрушенными домами в переулок, потом в другой, пересек железнодорожное полотно и оказался за городом, на берегу реки. Он взглянул на часы и опустился на траву. И сначала ни о чем не думал, а потом обратил внимание на эту речушку.

Она была заграничной, эта река. Всюду одинаковая зелень на склонах, темная вода, два моста недалеко один от другого, незнакомой, строгой архитектуры, с прямолинейными очертаниями, очень похожие друг на друга. Для чего понадобилось строить их рядом? Можно было сделать один большой?

Лес, высокие сосны и ели — без опушек, без мохнатого хвойного молодняка, который обычно забегает вперед взрослых деревьев, — прямыми четырехугольниками подходил к реке. И Леонид сидел рядом с таким лесом, в нескольких шагах от него, но не в лесу.

Он увидел, как росли деревья. Стволы елей от самых корней густо были покрыты ветвями. У подножия ствол расщеплялся на когтистую лапу, будто не вырос из земли, а вцепился в нее, опустившись откуда-то сверху.

Сосны росли из глубины. Стволы их были ровны до самой вершины, никаких желваков не было на стволах, и там, где они касались земли, никакого напряжения не

чувствовалось в них, которое выдавало бы жадность к земле. Слишком далеко от поверхности залегали корни сосен. А чтобы раньше елей вырваться к солнцу, они устремлялись ввысь, безжалостно роняя ветви, и стволы были голы. Стройные, прямые, обнаженные сосны возвышались над елями, и ветер качал их.

Леониду больше понравилось, как растут сосны. И когда он подумал об этом, он решил, что сейчас уже можно подумать и о том, следует или не следует ехать ему в Таллин.

Он снова стал рассматривать пахнущий духами блокнот и обнаружил на задней страничке запись по-английски.

Он помнил кое-что по-английски и прочитал:

«5 октября 1943 года. День рождения. 18 лет. Один из самых счастливых дней моей жизни».

А ниже имена. Должно быть гости.

И Леонид невольно вспомнил другое пятое октября...

Сознание вернулось днем и сразу стало ясно, что днем же оно уйдет совсем.

Немцы, конечно, поставили пулемет, чтобы простреливать участок вдоль ручья — там шла третья рота. Они не ожидали, что к ним подойдут через болото. Если бы они замешкались еще на минуту... Вышла ошибка: надо было залечь в болоте и выжить их огнем. Но они были совсем близко, а время — очень дорого... Все-таки получилась ошибка.

То, что он убит — это может быть. Но если те остались живыми, тянут ром, спят, не чувствуя боли, пишут письма?! Неужели никто не кончил с ними?

Зачем ему эти несколько часов? Чтобы узнать, каким твердым, шершавым может стать язык?

Одно мгновение ему мучительно захотелось прожить еще день, еще час и оказаться среди близких людей в своем сибирском городке, в доме у деревянного моста через овраг, прикоснуться к необычным, окрашенным в какие-то мягкие тона студенческим годам, даже теперь, даже в мгновенном воспоминании устремленным вперед, вперед.

Это было то, о чем он намеревался подумать и не подумал. Потому что вдруг появилась обязанность уйти

мыслью не назад, а вперед, пробиться туда, где она не бывала еще, и нужно было очень торопиться.

Примириться с мыслью о смерти он не хотел! Нет! Конец — это он знает. Это не ново — он нес свой солдатский конец за плечами всю войну. Но чтобы он сказал: «Да, я согласен». Никогда!

Странно... вот, кажется, и все, о чем ему нужно было подумать.

Подумать и передать живому человеку... Чтобы он запомнил.

Передать, что такое ровный шаг, спокойное дыхание, здоровое тело, здоровый человек и что такое конец...

Живые — прислушайтесь к мертвым!

Люди нужны друг другу, чтобы продолжить себя при жизни и после нее. Если бы сейчас кто-нибудь прикоснулся к его лбу... и через прикосновение унес с собой его, все то, чем он хотел жить! Но не было человека, который вот сейчас мог бы взять от него живое и передать живым.

В этот день он ждал того, кто должен был быть с ним еще при жизни.

В этот же день, вечером, наши снова перешли в наступление и выбили немцев. Похоронная команда подобрала старшего лейтенанта почти в безнадежном состоянии...

В этот день у Хельмы были гости... Она была особенно приятной!

В час дня с минутами Леонид сел в ленинградский поезд. И снова, стоя в тамбуре, он увидел, как стали развертываться четкие станционные постройки и узнал среди них те, которые сегодня видел неясными в рассветной дымке.

— Прощай, Хельма! — подумал Леонид. Со вчерашнего дня мне стало известно, чего может достигнуть женская привлекательность, но мы не должны скучать друг о друге.

Может быть я и увижу тебя на параде физкультурников в Москве. Ты опять пройдешь мимо древних кремлевских стен, легко ступая по плиткам мостовой, отполированным людьми и событиями.

Парады будут. Мы их устроим — солдаты в военной и гражданской одежде, а примет парад товарищ Сталин.

И чем ты будешь радостнее, чем красивее ты будешь маршировать — тем лучше. Я буду за тебя рад.

Я рад встрече с тобой, и тому, что ты существуешь на свете и цветешь в нашей стране. Но не тебя я ждал тогда, пятого октября.

Тем временем скрылись из вида два аккуратных леска, между которыми скользнул на рассвете поезд со спящей Хельмой.

МИХ. МАКСИМОВ

БАЛЛАДА О ВЕСНЕ

За окном, на пригорке низком
и похожем на пьедестал,
в память битв отгремевших встал
клен обугленным обелиском

Гол и птицам не люб. Лишь ворона
причитает на нем с утра:
мол, была что корона — крона
и красивой была кора...

И сочувственно смотрят солдаты,
как, изранен и опален,
за окном госпитальной палаты
он стоит — искалеченный клен.

И мрачнеют у раненых лица:
может снится ему, что жива,
что, как прежде, на нем шевелится
миной срезанная листва!

Тишина. И сиделка заметит,
сколько боли в такой тишине,
что-то скажет о резком свете
и полотна задернет в окне.

А за тонким, за очень тонким
госпитальным стеклом — весна
босоногим шальным ребенком
в лужах шлепает у окна.

И однажды врывается ливень:
рамы — настежь и шторы — вплавь!
и растерянным и счастливым
видно раненым, видно вьявь,

что весна, нет, что жизнь — упряма:
клен, обрубленный догола,
выгнал поросли, выгнал прямо
из простреленного ствола!..

И выходит солдат опьяненный
из пропахших карболкой палат,
и подходит к веселому клену
невеселый безрукий солдат.

Но солдата не мучит зависть,
и весна стоит на своем.
И, взглянув на зеленую завязь,
он смеется:
— Так, значит, живем!

НОЧЬЮ

Полночь — вдребезги! Над миром — вперебой
переборы громобоя, пляс огня.
Полк, наверно, поднимается на бой.
Разбудите, разбудите же меня!

Разбудите!
Гром урочища взбесил.
Где-то выжжена трава. И сад зачах,
и подстреленные яблони без сил
повисают у соседей на плечах...

Я вскочил!..
Но где же, к черту, автомат?!
Почему под мной не лапник, а кровать?!

...Ах, дружище — возвратившийся солдат,
долго ль будешь ты ночами воевать!

Успокойся. То не в бой идут полки.
Утром глянешь — почки лопнули, и сад
каждой веткой тянут к небу мотыльки
так, что яблони на цыпочках стоят.

Потому, что это просто первый гром:
это просто, по-солдатски, сполусна,
как и ты, припоминает о былом
возвратившаяся в отчий дом
весна!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Нет, раньше жили мы совсем иначе!
Не замечали, как цветник хорош,
ломали пальцы, слыша плач ребячий,
и свет окна не ставили ни в грош.

Но словно так с войной мы постарели,
что лучшее осталось во вчера, —
с друзьями развалившись на шинели,
я жить, как прежде, грезил у костра,

и, знаю, ты в контуженном подвале
от взрывов ту же прятала мечту,
как будто время за узду поймали
на взорванном саперами мосту...

Но все иначе! Все кругом иначе!
Свет? Хорошо, что светится окно!
Ребенок плачет? Хорошо, что плачет,
что жив, что плакать не запрещено!

В крови, в любви, в разлуке и надежде
война учила счастьем дорожить.
Мы говорим сегодня: жить, как прежде,
но прежде так мы не умели жить!

* * *

Не десять лет мы жили вместе.
Еще не свыклись, и — война!
Спешил я, как спешат к невесте,
приехал — встретила жена.
Но быть и не могло иначе —
не десять зим ты близ меня:
бывает, год не много значит,
когда живешь день ото дня.
А для живущих бой от боя
длиннее жизни каждый миг,
и, значит, сотни лет с тобою
я там провел в мечтах моих...
Не нам читать глаза и руки —
я сердцем вижу все в твоем.
Когда же, если не в разлуке,
так привыкают быть вдвоем!

* * *

Нет, не угрюмым стал и грубым,
кто на прицеле глаз держал:
тому, кто вправду шел по трупам —
примять цветок подошвой жаль.

Он стал взыскательней и, верьте,
влюбился в жизнь еще нежней!
А хвастает привычкой к смерти
лишь тот, кто не встречался с ней.

БАЛЛАДА О ШОФЕРЕ

От усталости гудели ноги.
А в обгон,
сдувая пыль с дороги,
шли машины.

Крикнешь: — Погодите! —
отмахнется и промчит водитель...

И тому, кто придержал на миг,
я сказал: — Спасибо,
ф р о н т о в и к!

Парень в штатском был и без медалей.
Он спросил: — А как вы угадали?..

СЫНОВЬЯ

Три сына у нее, три сына было,
и сердце ныло — на троих одно!

Война отбой под утро протрубила,
и мать, поплакав, запасла вино.

Что едет первый — знала. И в тревоге
металась в привокзальной толкотне.

Второй — нежданно вырос на пороге,
и дорог был поэтому вдвойне!

Но всех дороже оказался третий,
хоть поровну делила сердце мать:
за то, что двух других судилось встретить,
его придется вечно ожидать...

МЫ БЫЛИ ТАМ

Нам будет нелегко, быть может,
но нам не может быть трудней:
не только прошлое итожат
слова: мы были на войне!

Они для будущего мера —
столбы, разметившие шлях.
Они — на стройках угломеры,
и компасы — на кораблях.

И если за тобою снова
пойдет усталость по пятам, —
скажи ей три коротких слова:
— Мы были там!
Случалось там
бессонный полк шагал без песен
и с каждым шагом, каждый день
винтовка прибавляла в весе
и беспощадней жег ремень.

Хватаясь за тачанку взглядом,
ты брел, шатался, как в бреду,
но с минометчиком, что рядом,
менялся ношей на ходу.

Кусты мерещились домами...
Напрасно грезился привал...
И кто-то рядом был упрямей:
он миномет с тебя срывал,

и что же! С плеч долой усталость!
И чудом — верь или не верь,
но невесомою казалась
винтовка на плече теперь...

Так пусть привала день погожий
далек за вьюгой трудных дней, —
нам, после вынесенной ноши,
теперь не может быть трудней!

ВИКТОР УТКОВ

ПОДСОЛНУХ

(ОЧЕРК)

Из козы, которую мы заполевали в верховьях Хе-зы, вышло чудесное жаркое. Евдокия мастерски приготовила его, сдобрив козлятину таежными травами. А виноградный напиток, которым усиленно потчевал нас Василий, был выше всех похвал.

— Хорош? — спрашивал Василий. — Свой!

Капитан Иваненко усмехнулся.

— Свой, говоришь? — не то с насмешкой, не то с сожалением спросил он.

— Ну, да, сам готовил, — сказал Василий, подчеркивая слово сам.

— Ну, ну, — недовольно буркнул капитан и, отставив недопитую чашку, встал.

Евдокия убрала со стола, и мы вышли из дома. Солнце уже высоко поднялось на Тигровой и тени были только на немного длиннее предметов.

Небольшой дворик, огороженный частоколом, густо оплетенным виноградником, был тщательно прибран. В тени под навесом стояла легкая двуколка с аккуратно сложенной на ней сбруей. В полуоткрытые двери конюшни был виден чисто подметенный пол. Узкая калитка в частоколе вела в огород. Пышная и обильная зелень — плод заботливых рук и приморского солнца — ярким радостным пятном выделялась на диком темном склоне сопки. Поодаль дома, за изгородью виднелся небольшой участок для нового огорода: гигантскими уродливыми пауками чернела куча выкорчеванных пней, мертвой грудой лежал срубленный кустарник, и часть освобожденной от тайги поляны уже темнела свежевскопанной землей.

На всем, что окружало дом, лежал след труда, умелых хозяйских рук. И странно было видеть среди двора огромную жирную свинью. Не было на дворе ничего такого, что удерживало бы ее здесь: ни лужи, ни грязи, ни выплеснутых помой. Борота наружу были полуоткрыты, но свинья скиталась по двору из угла в угол и не пыталась выйти за частокол, в таежное приволье. Спина свиньи была в свежих царапинах, которые шли параллельными полосами от шеи к жирному заду.

— Что это с ней? — спросил капитан.

Василий махнул рукой:

— За гульбу попало.

— Как так?

— Раньше, бывало, домой не загонишь, все по сопкам путешествовала, вот и нарвалась на леопарда. В том дубнячке, — Василий показал на дубовый лес, который языком сползал по склону, охватывая дом с тыла, — Дуня из двухстволки убила его. Вон шкура сохнет.

Под навесом, распяленная на жердях, висела светложелтая с темнокоричневыми пятнами шкура. Я взглянул на Евдокию. Она стояла, скрестив руки на высокой груди. От всей ее крупной фигуры, живых выпуклых глаз, темного от загара румянца на щеках так и веяло здоровьем и задорной размашистой ухваткой, присущей только русским женщинам. Она, спокойно улыбаясь, смотрела на нас.

— И вы не побоялись на такого с охотничьим ружьем? — спросил я.

— Что ж бояться? Он близко подпустил.

— А если б промахнулись?

— Успела бы со второго ствола.

— Она у меня по-снайперски стреляет, — снисходительно, так, словно Евдокия была его созданием и непростительно было не видеть этого, заметил Василий.

В противоположность своей жене, в которой угадывались мягкость и доброта характера, он производил впечатление человека властного, твердого и ограниченного. Светлые, цвета осеннего березового листа усы полузакрывали крепкий упрямый рот. Глаза, чуть сближенные к переносице, смотрели на собеседника с

выражением горделивого достоинства. Видно было, что Василий знает себе цену и никому не позволит сбавить ее. Небольшая, коротко по-городскому остриженная голова была очерчена смело и скупо теми характерными линиями затылка, лба и подбородка, которые почти всегда указывают на энергичный целеустремленный характер. Оба они — Василий и Евдокия — были, как говорится, подстать друг другу, дополняли друг друга.

После слов Василия о жене, капитан недовольно взглянул на Василия и, повернувшись ко мне, сухо напомнил:

— Пора.

— На обратном вас ждать? — спросил Василий.

— Не знаю, — сказал капитан.

Евдокия перестала улыбаться и выразительные глаза ее стали серьезны.

— Редкий вы гость у нас, — вздохнув, сказала она, обращаясь к капитану, — почаще бы наведывались, а то скушно здесь, в лесу-то...

— У товарища капитана дела. Ему не до скуки, — сказал строго Василий. — Распоряжений никаких не будет?

— Нет.

Капитан попрощался и торопливо, словно боясь чего-то, спустился с крыльца и пошел к лошадям. Его лицо было хмурым и недовольным.

Мой Карий, оттеснив лошадь капитана, вынес меня из дворика, косясь испуганно под навес, где сохла шкура зверя. Долина Хезы легла передо мной вся в пышной зелени, залитая солнцем. На повороте, у подножья Тигровой, меня догнал капитан. Придержав Карего, я оглянулся назад.

Домик лесничего был хорошо виден отсюда. Он стоял на террасе сопки в полукольце кудрявого дубняка. Василий закрывал ворота, Евдокия все еще была на крыльце и смотрела вслед нам, защищая глаза от солнца ладонью. Я помахал ей на прощанье рукой и пришпорил Карего.

Капитан ехал шагом, опустив поводья. Его длинная сильная спина равномерно покачивалась в такт лошадиной поступи. Зеленая фуражка пограничника, низко надвинутая на лоб, бросала тень на лицо. Виден

был лишь темный от загара подбородок да плотно сжатые губы. От их уголков книзу пролегли неглубокие морщинки. Они придавали рту выражение горькой печали.

Я знал капитана Иваненко немного, всего столько, сколько мы находились в этой командировке, но мне казалось, что я знаю его уже давно. Он представлялся мне типичным кадровым командиром. Он действовал быстро и был скуп на слова, но за действием у него скрывалось всегда хорошо продуманное решение. Дальний Восток и служба на границе воспитали в нем превосходные качества охотника и следопыта. Выбрать место для ночлега, разжечь в проливной дождь костер, найти кратчайший путь через таежные заросли, приготовить на костре обед и много других походных навыков капитана не раз во время нашей поездки выручали нас. Он отлично стрелял. Козу, которую я только ранил, он свалил из карабина на расстоянии четырехсот метров. О себе он говорил мало. Я знал, что родом он с Украины, что более десяти лет служит на границе и что живет одиноко, без семьи. Мне представлялось, что жизнь капитана проходит по прямой, четко обозначенной дороге, не широкой, ровной, без крутых поворотов и подъемов. Если отбросить все случайности и опасности пограничной жизни, в которых капитан был не волен, будущее капитана было таким же определенным и устойчивым, как и его настоящее... И вот эта неожиданная печаль! Откуда она? Служебные неудачи? Вряд ли... Евдокия?... Она ему в дочери годится... Настроение капитана круто изменилось при отъезде, было похоже, что капитан все время сдерживал себя, а в последний миг не вытерпел... Что же скрывается за этим?.. И, пришпорив Карего, я догнал капитана.

Мы ехали некоторое время рядом, молча, а потом, желая начать разговор, я спросил:

— Далеко ли до устья Дау-Хе?

— После полудня приедем, — сказал капитан, не повертывая головы и, как мне показалось, неприязненно скосив на меня глаза. Тронув коня, он послал его вперед. Я осадил Карего, который не мог терпеть, чтобы рядом идущая лошадь обгоняла его.

Досадуя на свою неловкость, я отстал. А скоро и забыл о капитане. В Приморье я служил несколько месяцев, и все здесь еще не утратило для меня романтической новизны.

Еле заметная тропинка перебегала с одного берега Хезы на другой, часто перебрасываясь через мелкую реку. Берега реки поросли кустарником и сочными травами. Склоны сопок, сбегающие в долину, были покрыты тайгой. Виноградник и лимонник — эти дальневосточные лианы — оплетали стволы деревьев, высоко взбираясь к вершинам, мощными плетьми свисая с ветвей, переплетая лес причудливой сетью. В таком лесу было сыро и сумрачно. Нога тонула в мягком покрове истлевших сучьев и стволов. Огромные полусгнившие пни, мертвые стволы деревьев, кучи валежника светились по ночам фантастическим голубоватым светом. Здесь распад шел быстро и решительно и, словно химерическими цветами умирания, гнилушки были украшены тысячами губчатых древесных грибов самой разнообразной формы и цвета. Зато прогалины и поляны были полны жизни. Нога путалась в густых травах, яркие цветы возвышались над ними, жадно раскрыв свои чашечки навстречу неистовому приморскому солнцу; летний воздух был полон пчел, шмелей, ос, цветистых бабочек; внизу, в тени трав и цветов на влажной теплой земле обильно гнездилась всякая мелкая живность. После сумрачной тайги жизнь здесь казалась особенно буйной и торжествующей. В таких местах, говорил капитан, и растет легендарный жень-шень, корень жизни, возвращающий человеку молодость и силы.

Повороты Хезы открывали нам новые виды, похожие на прежние, но более величественные. Сопки становились выше, долина просторнее, дали свободнее. На горизонте уже показались высокие горы. Они были окутаны жарким маревом и казались одетыми в пышные шубы курчавым зеленым мехом вверх. И, слобно в прорехи этого одеяния, то там, то здесь виднелось серое каменистое тело — осыпи, отдельные утесы. Сама Хеза становилась шире, полноводнее, принимая в себя многочисленные ручьи и мелкие речки.

Солнце быстро приближалось к зениту. На небе появились редкие пушистые, как сухая вата, облачки. Они висели неподвижно над раскаленной землей, не

давая ни тени, ни освежающей прохлады. Бока наших коней потемнели от пота. Карий мой давно уже прекратил попытки галопировать и шел ровной мелкой рысью.

В эти часы мы обычно делали привал, но капитан, казалось, и забыл об этом. Он ехал, мерно покачиваясь в седле, в раздумье опустив голову. И только когда солнце перевалило через зенит и зной стал невыносим, капитан свернул в долину большого ручья, впадавшего в Хезу справа.

— Устье Дау-Хе, — сказал он, останавливая лошадь под узорчатой тенью молодого кленовника. — Привал.

Отдых наш был коротким. Мы быстро поели, запив обед холодной водой из ручья, напоили коней и тронулись дальше.

Место пошло еще глуше. Здесь не было и тропинки. Дорогу приходилось прокладывать среди густых зарослей, щедро оплетенных виноградником. Зачастую мы спешивались и вели коней в поводу. Нам предстояло перейти долину Дау-Хе до верховьев ручья и нанести на карту места будущих огневых точек. Капитан наметанным глазом всматривался в крутые берега, делал пометки на карте и диктовал мне короткие описания. Постепенно и для меня становился ясным его замысел: дополнить природную непроходимость долины искусственными сооружениями. Огневые точки связывались в единую систему, перекрывая одна другую. Долина становилась недоступной.

Капитан оживился за работой, и я снова видел его таким, каким привык и желал видеть: энергичным, деятельным, быстрым на решения.

У поворота ручья, в среднем его течении, где вода, омывая каменистый выступ, круто его огибала, образуя отмель, мы остановились напиться. Капитан, утолив жажду, медлил подняться. Он пристально рассматривал песок в пригоршне, пропуская его между пальцами, как воду. Песок был темный, почти черный, хорошо отмытый. Ровные широкие брови капитана были сосредоточенно сведены к переносице, как два крыла птицы, готовой к полету.

Капитан сбросил остатки песка в воду, отряхнул ладони и вынул из кармана гимнастерки записную книжку.

— Вы знакомы с горным делом? — спросил он меня, что-то быстро записывая. — Такой песок всегда указывает на близость рассыпного золота.

Он положил книжку обратно в карман, определился по компасу и, развернув планшет, сделал пометку на карте.

— Запишите. Точка № 14. Пулеметная, трехамбразурная. Сектор обстрела: 135 — 282 градуса.

— Часто встречается золото в этих местах? — спросил я, делая запись.

— Восьмая находка в моем районе, — сказал капитан, держась за луку и медля вскочить в седло. — Места здесь богатейшие. Я встречал выходы каменного угля, серебра, свинца... — глаза капитана блестели. Он легко забросил свое большое тело в седло:

— Ну, поéхали дальше, — сказал он.

Снова мы начали пробираться сквозь заросли, рядом ехать было нельзя, и разговор наш прекратился.

К вечеру мы закончили рекогносцировку долины Дау-Хе и вышли на водораздел. Начинало вечереть. Небо на западе порозовело, и горы из сине-зеленых становились сине-фиолетовыми.

На водоразделе было тихо, безжизненно. Но это была обманчивая тишина. Близко проходила граница, и нас, конечно, и видели и слышали те, кому надлежало в этих местах видеть и слышать. Но они были заранее предупреждены о нашем появлении и мы поэтому их не замечали.

Мы остановились на вершине водораздела. Картина была дикой и своеобразной. Впереди, за впадиной новой долины, виднелся новый подъем, а за ним высокие сопки. Они тянулись грядами с севера на юг, с запада на восток, перекрещиваясь, сшибаясь хребтами, наступая одна на другую. Но в этом столкновении не было ничего мрачного, хаотического или подавляющего человека своей грандиозностью. Поросшие лесом хребты не разрывали неба острыми пиками, а как бы мягко вдавливались в него, образуя причудливую волнистую линию горизонта. И, казалось, что горы эти живут какой-то своей особой жизнью, подчи-

ненной плавному задумчивому ритму. День еще не умер, вечер только наступил, небо ежеминутно меняло тона от нежно-палевого до изумрудно-зеленого, краски вокруг были полны тончайших переходов и переливов, и в воздухе от всего этого прекрасного сплетения красок и линий словно разлита была чуть грустная тихая мелодия. Я смотрел, как зачарованный, на эту чудесную картину. И капитан тоже молчал, глядя в даль. Ни обычной грубоватой властности, ни утренней горечи не было теперь в его лице — оно дышало уверенной, спокойной силой, и живая мечтательность взгляда словно освещала изнутри ровным светом серые зоркие глаза капитана. И я понял, что в капитане живет глубокая и верная любовь к этому краю, и что в этот миг капитан — такая же неотделимая часть его, как и горы эти, и многоценное небо, и леса на крутых склонах сопок, и травы в долинах и две козы, что выскочили из лощины и, увидев нас, застыли живыми изваяниями.

Капитан заметил их, и лицо его сразу стало обычным. Он схватился за карабин. Козы, высоко подпрыгнув на месте, метнулись в сторону и исчезли. Капитан усмехнулся, отводя руку от оружия.

— Здесь стрелять нельзя, — сказал он. — Граница. Эти сопки, — капитан показал вперед, — уже в Маньчжурии.

И сразу исчезло волнующее очарование этой предзакатной картины. Мечтательная мелодия красок и линий перешла в суровые ритмы пейзажа «На сопках Маньчжурии», а леса и вершины стали «чужой» землей.

«Чужая» земля! Она была такая же, как и здесь, у нас под ногами, и все же была чужая. Такой же серый камень был телом ее гор и утесов, и все же он был чужим; те же травы и деревья покрывали склоны тех сопок, и они тоже были чужими... Где-то, совсем рядом, проходила эта разделительная линия. Стоит только ее перешагнуть и сразу очутишься в другом мире. Там другая жизнь, не похожая на нашу, другие законы или людей, другие отношения между ними. Уж не потому ли даже то, что одинаково со здешним — природа — там кажется иной? Ибо только человек вкладывает в природу то, что мы туманно назы-

ваем ее душой и, что лучше всяких подробных описаний раскрывает нам ее сущность.

«Чужая» земля! Она лежала рядом, освещенная тем же закатным солнцем, под тем же многоцветным небом. Мне вспомнилось пушкинское путешествие в Арзрум и то неизъяснимое чувство, которое охватило его при виде границы. Иным словом — неизъяснимое — трудно и передать его. К этой грани сходились два мира. Здесь проливалась первая кровь, тот роковой ручеек войны, который превращался затем в реки крови и моря человеческого горя. Здесь издавна сталкивались противоположные начала: добро и зло, созидание и разрушение, мир и война. Невидимая эта грань словно воплощала в себе и прошлые времена, уходящие к истокам народов, и настоящее, и будущее, когда границы сделаются лишь воспоминанием, лишь местом экскурсий ученых...

— Пора и на ночлег, — сказал капитан, трогая поводья своей лошади. Простые и неожиданные эти слова прогнали от меня чудесную птицу фантазии, и все вокруг стало обычным, суровым, строгим. Вечер как вечер, и надо устраиваться на ночлег. Лишь грустная мелодия старого вальса еще не покидала меня.

Солнце опускалось ниже и ниже, и его огромный оранжевый круг почти коснулся вершин, разбрасывая во все стороны янтарь и червонное золото. Предвечерье отлетело прочь, словно испуганное этим буйством красок, следом за ним уверенной поступью пришел лиловато-синий вечер, а «чужая» земля, пронизанная глубокими тенями, уже исторгала из себя ночь...

Мы спустились с водораздела в долину безымянного ручья. Косые лучи солнца били нам в спину. Наши тени далеко опережали нас. И в этой-то долине, рассеченной нашими тенями, плоской от вечернего солнца, мы неожиданно увидели его. Он весь сиял в прощальных лучах, возвышаясь на могучем стебле, как золотоголовый маяк.

Капитан поскакал вперед, погоняя усталую лошадь. У подсолнуха он спрыгнул на землю.

— Что за красавец! — сказал капитан, поворачиваясь ко мне лицом, полным радостного удивления, словно повстречал он давно потерянного друга.

Солнце вот-вот должно было угаснуть, и нежные лепестки цветка, просвеченные последними лучами, казались пластинками живого золота.

Как он попал сюда? Могло быть по-разному. Мог пограничник во время обхода обронить семечко. Мог его потерять нарушитель-проходчик... Но как бы там ни было, подсолнух прочно вцепился корнями в эту землю и стоял среди необычных для него диких соседей сильным и признанным хозяином.

Капитан молча и серьезно смотрел на цветок. Солнце скрылось за горами. Быстрые фиолетовые сумерки потекли по долине. Маленькое солнце подсолнуха потускнело. Капитан вздохнул и сел в седло. Снова горькие морщинки от уголков губ опечалили его лицо. Отъехав немного, я оглянулся: в лиловых сумерках был смутно различим подсолнух. Он стоял чуть ссутулившись, склонив золотую свою голову, как стоит человек, расстающийся надолго со своими хорошими друзьями...

Мы лежали, покуривая крепкий табачок — подарок Василия. Черное небо, полное золотыми звездами, висело над нами. Синий воздух ночи бесшумно пронизывали голубые искры светляков. Снизу доносился однообразный говор ручья, а рядом, затерявшиеся во мраке, пофыркивали наши кони. Пламя костра боролось с темнотой, и ночь то испуганно отбегала, освобождая яркую зелень трав и кустов, то снова наступала, сужая светлый круг.

Мы лежали разделенные костром, нам обоим было немного грустно и от усталости и от того, что эта великолепная ночь проходит мимо, только слегка касаясь нас своим бархатным крылом, вызывая воспоминания о тех ночах, которые не были отравлены войной.

Нас было только двое среди могучей тишины отдыхающей природы, и трепещущий круг костра — древнего цветка походной дружбы — сближал нас еще больше.

Наступал час откровений, час, когда исчезают последние преграды и сердца людей раскрываются, чтобы скрепиться нерушимой походной дружбой, требовательной и суровой, как сама дорога.

Капитан только что рассказывал мне о своей службе на границе, о скрытой для постороннего глаза, полной борьбы и труда, опасностей и тревог жизни пограничников.

Теперь он молчал, покуривая трубку и, задумавшись, смотрел на огонь костра усталыми сощуренными глазами.

В рассказах своих он раз-два упомянул имя Василия, и я спросил:

— Василий и сейчас, вероятно, помогает вам?

— Да, — сказал капитан, — это очень полезный для нас человек.

В глубине долины взбалмошно прокричал фазан и, как-то сразу, захлебнувшись, смолк. Капитан, вынув изо рта трубку, настороженно посмотрел в темноту.

— Лиса, — сказал он, закуривая снова, — соседа захватила.

— Давно они живут здесь? — спросил я.

— Кто?

— Василий с женой.

— Лет семь... Василий был у меня в роте старшиной. После службы остался здесь.

— А жена?

— Из Подмосковья. Ездил в отпуск и привез

— Хозяйственная семья...

Капитан нахмурился, словно моя похвала была чем-то неприятна для него лично. Он выбил пепел из трубки и стебельком травы начал ее прочищать. Лицо капитана, освещенное пляшущим пламенем костра, ежесекундно менялось, то покрываясь глубокими тенями, то озаряясь мгновенными бликами, и трудно было определить его выражение. Капитан, не спеша, свинтил трубку, набил ее табаком, тщательно примял табак указательным пальцем и достал из костра пылающую ветку. С лица его сбежали тени, и оно открылось до мельчайших морщинок. Капитан был серьезен и хмур. Он раскурил трубку и вдруг сказал:

— Русский человек, он, как подсолнух: была бы земля, да солнце...

— Да... — ответил я, не удивясь его неожиданным словам: подсолнух, в долине безымянного ручья, хозяином утвердившийся на этой земле, возник у меня в памяти.

— Немец, тот прежде всего старается классифицировать мир, разбить его на ступеньки. Себя, конечно, он ставит на высшую. А мы, русские, по натуре своей созидатели, хозяева. Вспомните-ка историю: землепроходцы наши искали вольную землицу, на которой можно было бы жить да строиться, а не за покорением народов шли на восток... Так?

Я кивнул головой.

— Далеко за примером ходить не надо. Возьмите Евдокию. Жила в Подмосковье, выросла вблизи большого города; вероятно, она и зверя крупнее крысы на воле не видела, а приехала сюда, в это дикое место и, как видите, хозяйка и здесь, — капитан помолчал, выпуская уголком плотно сжатого рта клубочки дыма. — Но это лишь одна сторона, — продолжал он, — не видеть другой, значит искажать действительность... Вы вот похвалили Василия с Евдокией, назвали их хозяйственными людьми... Может быть, это и хорошо, но есть хозяин и хозяин, меня же их хозяйствование порой только злит, — с неожиданным раздражением сказал капитан и коротким жестом руки, с зажатой в кулаке трубкой, сердито обрубил фразу. Затем он быстрым движением обвел рукой вокруг и продолжал: — Это все: сопки, деревья, травы, небо, — он показал чубуком трубки вверх, — все наш дом. Мы его хозяева, — он особенно выделил слово мы, — и мы хотим, чтобы в нашем доме все было хорошо, и чтобы нам никто не мешал устраивать его так, как мы считаем нужным. Вот и берет меня злость, что мешают нам в этом, а время уходит, за людей обидно... Разве Василий и Евдокия созданы лишь для того, чтобы разводить огородик, ловить нарушителей да стрелять барсов?

— И это необходимо...

— Ну, а если б отпала такая необходимость? — горячо сказал капитан, и сразу же, не дожидаясь ответа, продолжал, увлеченный своей, вероятно, давно выношенной мыслью: — Ведь начинали же мы так жить... я прожил здесь более десятка лет, и Приморье так же дорого мне, как и Украина... Здесь, — он постучал кончиком чубука по карману гимнастерки, где лежала записная книжка, — за это время накопилось много интересного. Сопки и долины эти скрывают в себе миллионы. Сотням васильев и евдокий нашлось бы здесь

дело по их плечу и уму... Ан, нет, — ловите нарушителей, садите капусту... Так и загаснет огонек творческий в них, распылится по мелочам да в повседневности. Видели, утром, Василий женой своей хвастал, да пивом самодельным, — капитан замолчал, порывисто раскуривая загасшую трубку. — Э-э, да, что и говорить, — махнул он рукой, — глупая это злость и не ко времени сейчас... Мечта.

— Не глупая, — сказал я, — без нее вы были бы плохим военным.

— Может быть, — сказал капитан. — Не знаю, кто сильнее во мне: хозяин или солдат... Может быть, потому и обида эта во мне, что не удалось мне поработать, как следует... Всего только полтора года и поработал на шахте в Енакиево, а потом — армия.

Капитан смолк, охватив руками колени. Руки его, освещенные пламенем, были крупными, с большими узловатыми пальцами и широким запястьем. Руки рабочего. Но кожа на них, покрытая темным загаром, была гладкой и тонкой.

Костер угасал. Уже неразличимы стали во тьме кусты орешника рядом с костром, и лицо капитана с погасшей трубкой во рту постепенно скрывалось в темноте.

Трепетный круг костра становился все уже, недвижимее и бледнее. Темень вплотную подступала к нам. Капитан пошевелил веткой угли, они на мгновение вспыхнули, а потом снова сгасли, и ночь придвинулась к нам еще плотнее, грозя совсем поглотить нас.

— Подбросьте-ка дровец, — сказал капитан.

Я встал и спустился к ручью, где еще засветло приметил сухой кустарник. Глаза мои скоро привыкли к темноте, и ночь уже не была так непроницаема, как у костра.

На севере небо чуть светлело, и вершины сопок четко вырисовывались на нем. Долина темным руслом, теряющим в ночи свои формы, уходила от меня вдаль. На склоне горы, близ костра виднелись темные силуэты наших коней, и костер светился красными углями, как умирающая на земле звезда. Фигура капитана около него была неподвижной.

Я нарубил охапку сушняка и принес ее к костру. Мы принялись раздувать потухающие угли. Слабые язычки пламени начали пробиваться сквозь сучья. Они соединялись вместе, становились смелее, настойчивее, и вдруг разом костер вспыхнул, отбросив далеко прочь темноту.

Косматая голова Карего неожиданно показалась из мрака, выпуклые блестящие глаза его с любопытством смотрели на нас, клок зеленой травы был зажат в мягких губах, на которых ясно были различимы редкие черные волоски.

Искры высоко взлетали вверх, соперничая со звездами. Потом пламя сникло, и снова началась трепетная борьба света и тьмы.

Лицо капитана было попрежнему грустно, и странно было видеть эту устойчивую грусть, она как-то не шла к крупным чертам лица капитана: крутому подбородку, твердому рту с резкими складками от носа к углам губ, смелому разлету бровей. Он задумчиво шевелил угли в костре.

— Вот и с семьей у меня неудачно получилось. Девочку жалко. Хорошая она у меня, как подсолнечник... — сказал он тихо.

— На Украине?

— Нет, семья у меня здесь. В Краснино. С женой мы разошлись. Все, говорит, у нас не как у людей получается, дома не живешь, о доме не радеешь, не дом, а лагерь какой-то... — капитан горько усмехнулся. — Вот как бывает... — Он бросил в костер обгоревшую палку и взглянул на небо.

— Заболтались мы с тобой, — сказал он, — скоро светать начнет. Дела да дела, иной раз и о себе хочется поговорить. Надоел я тебе, наверно...

— Нет, нет... — торопливо сказал я. Мне хотелось сказать капитану многое, но мысли мои шли возбужденно, перегоняя одна другую, и слова не поспевали за ними, надо было, чтобы наш разговор отстоялся, подобно тому, как отстаивается вода в реке после свежего ветра, и я только сказал:

— Мы еще поработаем, товарищ капитан...

— Да... — коротко сказал он, — завтра у нас много работы... — С лица его ушла грусть, и оно было по-командирски властно и сурово.

— Ложись-ка сначала ты, — сказал он, набивая трубку табаком, — а я часок-другой посижу.

Я завернулся в плащпалатку и лег у костра. Но сон не сразу пришел ко мне. Открыв глаза, я смотрел в синее небо. Золотые звезды медленно плыли надо мной. Искры от костра взлетали к ним и гасли. Мир и тишина стояли вокруг, но покоя не было. Дыхание войны шло над спящей землей, наполняя сердце тревогой и горечью. Мы давно уже готовились быть солдатами, но никогда для нас война не превращалась в повседневность, никогда она не заполняла всю нашу жизнь без остатка. Мы знали ее неизбежность, и не страшились этого, но до последних минут желали мира. Мне стал понятен капитан, и я был рад, что ранее ошибался в нем. Война лишила его самого прекрасного в жизни человека — созидательного труда. Он встретил это лишение, как и подобает сильному человеку, не падая духом, борясь и веря, что он вернет утраченное не только себе, но и многим людям, обездоленным подобно ему...

Капитан сидел неподвижно у костра. Тень его сливалась с чернотой ночи. Глаза были устремлены на пляшущее пламя костра. Весь он, сильный, широкий, с мужественным, крупной лепки лицом, бронзовым от загара и света костра, был похож сейчас, в своей неподвижности на задумчивое изваяние.

Я закрыл глаза, стараясь запечатлеть в памяти эту картину, но, вытесняя ее, отрывистыми видениями начали проходить передо мной — дворик Василия, Евдокия на крыльце, солнечная долина Хезы, танцующие вершины сопок Маньчжурии, лицо капитана, наклонившееся над цветком подсолнуха. Видения эти поднимали во мне какое-то тревожащее и сладостное чувство. Неясное еще, оно напоминало рождение любви, когда все, ранее обычное в человеке, начинает казаться единственным, неповторимым, когда вдруг замечаешь всю скрытую ранее для тебя прелесть любимого человека, и он становится тебе дорог и тревожит и радует. Я приоткрыл веки и опять увидел небо. Крупные звезды плыли в темной синеве. Сон уже овладевал мною, плавная мелодия старого вальса убаюкивающе зазвучала у меня в ушах, звезды начали медленно кружиться в задумчивом хороводе, потом у них выросли золотые лепестки, небо

наполнилось танцующими подсолнухами — и, унося с собой это видение, символ той земли и людей, которые в эту ночь стали мне близки, как родные, я заснул...

С восходом солнца мы двинулись в путь. Наша работа шла слаженно и быстро. Вечером мы подъезжали к домику Василия, окончив нашу работу по рекогносцировке долины Дау-Хе.

СЕМЕН ГУДЗЕНКО

ЛИРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

I

На свете очень много родин.
Но у тебя всегда одна.
И вот,
когда пришла война,
когда тебе сказали:
«Годен»,
благодари родную мать
за то, что родила солдатом
в двадцать втором
или в двадцатом,
когда устали воевать.

Благодари ее за то,
что ты не вздохом и не всхлипом
Россию спас.

...Четыре липы.
Березки три.
Акаций сто.
Замшелый камень.
Тихий прудик.
Избу,
где прожил век в тепле..

А для меня Россия —
люди,
которых встретил на земле,
с которыми под этим небом
делился хлебом.

II

Я вспомнил первые шаги,
как по Кузнецкому
в Охотный
прошел походкою пехотной, —
поскрипывали сапоги.

Слегка покачиваясь,
лихо
пилотку сдвинув набекрень,
я шел сквозь штатскую шумиху
в тот первый,
незабвенный день.

Мне было девятнадцать лет.
И девушки смотрели вслед,
дорогу уступал прохожий.

Я вспомнил первые шаги —
похрустывали сапоги
несмазанной
добротной кожей.

И в тот же день
ты тоже шла
по тем же улицам
к вокзалу.
А мне об этом написала
из осажденного Орла.

III

Вдали пылал воскресный Брест,
и в институте стало пусто.
Я на стихах поставил крест
и отказался от искусства.

Я о походах тосковал.
(Пусть дождь лицо сечет!).
Я никогда не рисковал.

(Любовь к тебе — не в счет!).
Я очень редко горевал.
(И твой уход забыт).

А там,
вдали,
окопный быт,
военный буревал.

IV

Караульное помещение,
замерзающий часовой.
Где окопы?
Где радость мщенья?
Обучают меня под Москвой.
С полной выкладкой маршируем.
— Выше голову!
— Шире грудь!
— О романтике позабудь!
— Выше голову!
— Шире грудь!
— Шире плечи!
— Шире шаг!

... Ночь на нарах.
Звон в ушах.
Не сражаюсь.
Не пирую.
Ничего не просит душа.
Только б выспаться до утра.
Только б не было ночью тревоги.

V

Сон досматриваю: нора,
у дороги.
Много хлеба в ней,
в той норе.
Капля неба в ней
на заре.

Но в нору не доходят слухи.
И не знают там о войне.

У окна сидят две старухи,
две девчонки сидят на окне.

Мне б туда от старшины,
от поверки, от лопатки
убежать бы все лопатки.

Там горнисты не слышны.
Там тепло и без шинели.
Там встают, когда хотят.

VI

Угрюмый старшина ползет по щели
и кормит сахаром солдат.
Здесь рубеж. Здесь черта.
Здесь мечта. И не мечта.
Над тобою небо боя. Ты лежишь на поле боя.

— Что с тобою?
— Что с тобою?
— Ни черта, брат, ни черта...

Просто думаю о многом:
все, что есть и что прошло,
все, что слушал по дорогам,
все, что снегом замело —
вижу резче и точнее,
будто заново прозрел.

...Ходит ворон, коченея,
ждет, чтоб я закоченел.

VII

Угрюмый старшина опять ползет по щели.
Ни домечтать,
ни докурить нельзя.

Уже на бруствер брошены шинели.
Сейчас в атаку бросятся друзья.

...И началось.
Я выскочил по знаку.
Огонь
над полем боя
нависал.
Так было.
А стихи «Перед атакой»
я после,
в лазарете,
написал...

VIII

И вот тогда,
февральским
ясным утром,
когда я мечен был свинцом,
ко мне пришла в палату мудрость,
обветренная, как мое лицо.

IX

Снег прилег на подоконник,
как белый глуховатый кот.

Под простыней остыл покойник —
полуоткрытый рот.

И не нужна ему свеча,
совет врача
и свет очей.

Он дорог всем.
И он ничей...

А я в палате знаю до единого
все хрипы, храпы, стоны.
Вдруг:
— Ребята, тише! Вальс из «Лебединого»,
проговорил сосед без рук.
— Не выключайте радио, сестра!

...О грусть моя, как боль, остра.

* * *

Глаза закрою: листопад
идет в Сокольниках шурша.
И лист на землю неспеша
слетает с клена.

Невпопад
я говорю с тобой о том,
что будет снег, что будет град,
что будет ливень, будет гром
и что начнется листопад.

...А листья падают в траву
уже девятый день подряд.

X

Окончен госпитальный срок,
но не окончен бой.
Ты снова «годен».

Ветерок,
как дымка, голубой,
то пахнет старою бедой —
железом и золой,
то пахнет талою водой,
землею и смолой.

А ты карболкою пропах,
в широких стираных штанах,
в кирзовых сапогах,
пошатываясь, на перрон
выходишь.
Женщины молчат.
Ты старый стреляный солдат —
обучен,
ранен,
наторен
во всех житейских драмах.

С немецкой надписью вагон,
с фанерой в белых рамах,

тебя опять везет на фронт
в Европу,
за границу.

...Бегут, бегут со всех сторон
дома под черепицей...

XI

И старшина проходит по панели.
Ни домечтать,
ни докурить нельзя.
На мостовую брошены шинели.
Сейчас в атаку бросятся друзья
по улицам,
по лестницам,
по крышам.

Нас оглушает пулеметный стук.
Мы задыхаемся.
И снова ровно дышим.
И занимаем населенный пункт.

XII

Ну, разве ты задумывался прежде
над странами, в которые попал?
Не думал ведь.
Стихи о Будапеште
я через месяц в Вене написал.

XIII

У черных размозженных стен
опять мы по-пластунски лазим.
(Я кожу ободрал с колен).

— Недоучившийся студент!
— Остановись! Пилотку наземь!
— Здесь
жил
Шопен...

И я остановился на мгновенье,
сгорая от стыда,—
мне захотелось музыки тогда
в продымленной
и разоренной Вене.

Здесь жил Шопен...
Он тоже тосковал
по Родине...

XIV

Грохочут поезда.
И вот Москва.
Меня ночной вокзал
пустым перроном встретил, как всегда.
И вот Москва.
В консерваторском зале,
поставив возле кресла костыли,
сидит солдат. Его сюда не звали.
Сочувствуя, студентки не вели.
Доковылял.
Вчера письмо прислали:
любимую в Берлине погребли.

XV

Уже смычки коснулись струн.
И я узнал во мгле
проклятый населенный пункт
на развороченной земле.

Там руки разбросав вразлет,
как два колючие крыла,
упала на прозрачный лед
моя любовь.
И умерла.

Война —
не поле перейти.
И если грусть пришла —
грусти.

XVI

Но дирижер взмахнул рукой.

Поплыл, волос не шевеля,
ленивый, ласковый покой —
так дышит осенью земля.

Не нагибаясь, не спеша,
обходит листопад сады.
И листья падают шурша,
как перезревшие плоды.
Их сторожа гребут в костер.
И дым,
как плюшевый медведь,
к нам лапы теплые простер
и ластится.

Не думал ведь,
что возвратишься в эту тишь,
что жизнь, как прежде, хороша,
что о потерях умолчишь,
чтоб не тревожилась душа.

...На белый снег
последний лист
ложится мягко, чуть дыша.

Концерт окончен.
Все сполна
мы отдали тебе, война.

XVII

Я ночью по Москве иду
и разговор с тобой веду.
Ты помнишь первые шаги,

как по Кузнецкому
в Охотный
мы шли походкою пехотной,
поскрипывали сапоги.

Еще все было там,
вдали.

Мы, не задумываясь, шли...
Я снова по Москве иду, —
поскрипывают
костыли,
а ты лежишь на льду.

Как два колючие крыла,
шинель солдатская вразлет.

Моя любовь не умерла!
Моя любовь живет!

Ну, разве сдамся я теперь,
когда окончен бой?!

Сегодня распахнулась дверь,
и я увидел пред собой:
планету в холмиках потерь
и в дымке голубой.

Но я люблю ее такой.
И в беспокойстве мой покой!

Земным делам не начат счет. —
Пусть дождь лицо сечет!
Мы — обожженные огнем —
Тревожно на земле живем.

XVIII

Я повторяю довод свой:
судьба без умысла и плана
нас берегла от малых войн —
от Халхин-Гола и Хасана.

Дорога стала нам ясна,
когда на плечи однолеток
Отечественная война

легла до хруста мышц
и клеток
грудных.
И не было трудней.
Но мы все выдержали.
Просто
Такое свойство крови.
В ней
отвага,
верность
и упорство.

XIX

И вот пройдут десятки лет...
Случайно,
в поле у оврага
найдешь окопный
ржавый след
и вспомнишь
весь поход —
до шага.
До выкрика —
весь гул атак.
И сыну скажешь так:
...Благодари родную мать
За то, что родила солдатом
в сорок четвертом,
в сорок пятом,
когда кончали воевать.

МАРК ЮДАЛЕВИЧ

☆ ☆ ☆

Когда я мечтой крылатой,
Былое расшевеля,
Пройду неспеша с Арбата
До красной стены Кремля,
Я снова, в толпе кочуя,
В кипенъи улыбок, встреч
Всем сердцем своим почую,
Что тяжесть скатилась с плеч.
Промчалась, слезой палима,
Пора смертей и разлук.
К отчизне моей любимой
Пруссак не протянет рук.
Вовеки стоять России,
Решен стародавний спор.
Не в силах враги лихие
Поднять на Москву топор.
Вовеки стоять столице,
Шуметь-гудеть без конца.
Покуда земля вертится,
Покуда стучат сердца.

☆ ☆ ☆

Он был на фронте помкомвзводом,
Мечты сбылись, война прошла.
Он снова будет счетоводом
Вести колхозные дела.

И, верно, даже не узнает,
(Ведь столько дел, счетов завал),
Что в школах дети изучают,
Как он когда-то воевал.

КЛАВДИЯ БУРДЫГИНА

Я ВИЖУ ТО, ЧЕГО НЕ ВИДИШЬ ТЫ

Беспросветно-хмурый осенний день. Всю неделю дождь хлещет в окна, ветер завывает жалобно и монотонно, деревья яростно размахивают ветвями, как будто угрожая кому-то.

В палате было темно и тоскливо. Казалось, что никогда уже больше не перестанет дождь и не выглянет из-за туч солнце.

Больные плохо ели, нервничали.

Вместе со взрослыми лежал мальчик лет двенадцати, из партизанского отряда. У него были светлые волосы и темные лучистые глаза с таким выражением, точно он внимательно всматривался во что-то.

Особенно нервничал Саша, раненый в голову и правое плечо.

— Какая тоска, — стонал он.

— Это потому, что ты ничего не видишь, кроме дождя и вон тех мохнатых еловых лап, вот тебе и скучно, — сказал Сеня.

— А ты, вероятно, видишь зеленый сад и в саду малину, — сердито отозвался Саша.

— Ага... я вижу то, чего не видишь ты.

— А ну, что же ты видишь, может быть скажешь?

— Почему не сказать, скажу... Я вижу нашу хату на самом краю села, а за хатой огород, а на огороде морковь растет — сладкая-пресладкая, да тыква — большущая, с колесо, а во дворе, я вижу, Гнедко стоит, сено жует и Шарик носится, как угорелый, — собака моя. Сам желтенький, носик черненький, а хвост пушистый. Уж до чего хорош... — и Сеня замолчал.

— Все? — насмешливо спросил Саша.

— Нет, не все, — задорно-задумчиво протянул Сеня. — ...Вижу, маманя из печки ватрушки вынимает,

румяные. А на ступеньках кошка наша тигристая лежит, вытянулась на солнцепеке и глаза зажмурила. А Наташка за водой идет с ведрами, платье розовое в горошки, шаленка цветочками, семечки щелкает, смеется.

— Постой, постой, ты же говорил, что Наташку немцы угнали...

— Ну, так что, это когда война была, а теперь войны нет, и мы теперь немцев угнали, и наши уже в свое село воротились, а я вот, как выпишусь — тоже домой поеду.

— Ну, это еще когда будет, — говорит Саша, — а пока, брат Сенька, лежишь ты на кровати, а около тебя костыли вон стоят, а ты говоришь... Шарика, Гнедка вижу.

— А вот и вижу, — не сдавался Сенька, — и песни слышу, как Толька Завиралов поет, вот закрою глаза и слышу... Ух, хорошо поет, аж сердце замирает.

— Ну и Сенька, — засмеялся Саша, — уж не знаю, кто из вас больше «завиралов» — Толька или ты... Может еще что видишь — рассказывай, — и голос уже не был сердитым.

— А еще вижу город, весь в огнях, и вокруг города река, словно серебряная, а за рекой луга и дорога бежит далеко-далеко — до самой Москвы, и над рекой облака плывут, по краям у них опушка словно золотая; а небо, как атлас, голубое.

— Ты про город-то рассказывай, а то небо... облака... — ворчливо проговорил молчаливый и сумрачный Минаев.

— Можно про город. Дома в городе большие, все в окнах, и кругом балконы, а на балконах цветы цветут — красные, белые, желтые и на каждом углу дяденьки сидят, сапоги чистят — раз-раз щеткой, а потом тряпочкой бархатной — и как новые сапоги-то. И везде магазины, а в них булки, плюшки белые и конфетки. Папиросы тоже продают... Еще вижу громаднейший сад, а в саду радио про войну рассказывает и девчата гуляют в красивых платьях — белых, синих, лиловых, и все веселые: говорят и смеются.

— А про что говорят-то? — спросил весь забинтованный Сережа.

— Про что говорят... — задумался на минуту Сенька и, улыбнувшись во весь рот, продолжал:

— Говорят, что война окончилась, немцев разбили, японцев разбили, а теперь — ух, как жить будем, лучше всех на свете! — И он замолчал. А глаза сияли, как звезды, и на губах лежала мечтательная улыбка.

Улыбались и слушатели, забыв о том, что за окном попрежнему лил дождь и завывал ветер.

ЮРИЙ ЗАБИНКОВ

ГРАНИЦА

Граница. По мосту стучат вагоны.
Изрытые снарядами места.
Как зубы,, выб. е у дракона,
Здесь надолбы желтеют у моста.
Здесь издыхающего зверя логово.
Отсюда начинал он свой поход.
От жадности давясь, он жаждал многого,
Так пусть же, что посеял, то и жнет.
Своих солдат до хрипоты расхваливал,
И наша боль была им нипочем.
Теперь его земля лежит в развалинах,
Покрытая разбитым кирпичом.
Смотри: над ломом танков покореженных,
«Пантер» в горелой порванной броне.
Рукой умелой воина-художника
Написаны две строчки на стене.
Щетинятся штыками буквы узкие,
Грозят, кричат, срываясь с кирпича:
«А кто с мечом придет на землю русскую, —
На том стоим, — погибнет от меча!»

ЛЕТО

В разгаре лето. Дозревает рожь.
Смородина поспела для варенья.
У аистов на крыше молодежь
Во взрослое оделась оперенье.

Зарос и обмелел тенистый пруд.
Я по утрам покой его тревожу,
И в страхе головастики снуют,
Уже владея парой задних ножек.

На яблонях плоды еще терпки,
Но их румянит солнечная накипь.
Раскрылись и роняют лепестки
Бутоны роз и розовые маки.

Пищит под крышей ласточек семья,
От лип струится пряный запах меда...
И это все сумел заметить я
Лишь в первый раз за все четыре года.

ЯКОВ ЖУРАВЛЕВ

ИЗ ЦИКЛА „ВОЗВРАЩЕНИЕ“

☆ ☆ ☆

На формировках, получая танки,
Мы — помню — удивлялись каждый раз
Стальной брони таинственной закалке,
Что словно мать оберегала нас.

А вот сейчас все проще и ясней:
Я вижу, чьи их мастерили руки, —
Их мастерили руки матерей,
Сестер и жен, томившихся в разлуке.

☆ ☆ ☆

Старый дом под железной крышей,
Где ничто не забыто мной!
Было: сплю в блиндаже — и вижу,
Как в него постучусь весной.

Но во снах это просто было.
И совсем не просто теперь.
Вот стою на крыльце и не в силах
Постучать в знакомую дверь.

* * *

Белоголовым мальчиком, в разлуке
По-старому его я представлял.
Пока сегодня на вокзале руку
Он по-мужски, до хруста, не пожал.

— Ну, здравствуй, брат! — Здорово, брат, здорово!
И вижу, сам он словно бы смущен:
Как я не знал, что вырос он в такого, —
Меня таким не думал встретить он.

ЕФИМ ЖИВАЕВ

ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

Друзья! Тот день вы не забыли,
Когда последний раз
Меня вы очень попросили
Стихи писать для вас?

Сказали вы: в огне орудий,
В краю, где льется кровь,
Поэт стихи не позабудет,
Как юноша — любовь.

И вот я здесь — сижу в окопе
И день и ночь подряд.
Меня в земле противник топит
Осколками гранат.

И в эти дни на ваши просьбы
О том хочу сказать,

Что если вместе довелось бы
И вам со мной бывать

В огне, где дьявольскою силой
Ревет горящий вал,
Где я, солдат России милой,
И дрался, и писал,

И смерти ждал, и ждал удачи,
Желая победить,
То вы узнали бы, что значит —
Поэзию любить!..

ГЕОРГИЙ НЕЧАЕВ

ДОМОЙ

Мороз крепчал. Скрипели сани.
Спешили лошади домой.
На воротник тулупа иней
Ложился белой бахромой.

Скорей вперед!
Скорей стремлюсь я
Достичь родимого крыльца,
С любовью жаркою коснуться
Губами милого лица.

Отдать в ее родные руки
Свои холодные, как лед.
Пусть после скуки и разлуки
Их обогреет и пожмет.

Летите, кони! Мчитесь вихрем,
Взметая снег с дороги ввысь,
Еще час бега... Сердце, тише,
Быстрее коней не стремись!

ИВАН КОРОВКИН

БЕРЕЗКА

Густосветлолистая,
В край родной влюбленная,
Встала золотистая,
Нивой окруженная.
Заняла, несмелая,
Лишь тропинку узкую...
Как близка ты, белая,
Взору, сердцу русскому.

ПОРА ЛЮБВИ

Пора любви! — Надолго ль улетела?
Как дивный сон — была и не была.
Над кем она торжественно запела,
Какому сердцу счастье принесла?

Пора любви! — Я помню эти ночи,
Костры в полях и песни при луне.
Каким огнем светились его очи,
Каким блаженством были они мне!

Пора любви — как песня золотая,
Не всем ее придется допевать...
Чтоб он пришел, я буду, ожидая,
Ему в борьбе всем сердцем помогать.

1944 г.

М. ЮРАСОВА,
А. ПАЛАШЕНКОВ

В ХАНСКОЙ СТОЛИЦЕ

I

Многочисленная свита хана ехала в отдалении. Кучум не хотел видеть никого из свидетелей своего поражения[1].

Езда не мешала ему думать. Он все пытался разобраться, понять, объяснить себе, почему так случилось. Почему этот пришелец из-за Камня Югорского, не царь, не князь, а простой казак разгромил его десятитысячное войско? Но беспомощная ярость так мучила хана, что он не мог до конца додумать этой мысли; внимание его распылялось, другие воспоминания уводили Кучума далеко.

Он вспомнил сон. Два зверя, белый и черный, вышли на песчаную прииртышскую косу там, где в Иртыш впадает ленивая Тобол-река, и учинили великую битву. Белый зверь был огромен, как вол, и похож на волка, черный мал, быстр и похож на гончего пса. В битве малый одолел большого. Три дня лежал издыхающий белый зверь с перегрызенной глоткой на желтом песке косы, и шерсть его из белой стала ржаво-бурой от крови. На четвертый он поднялся и ушел в воду. Черный зверь метнулся за ним и тоже исчез в мутной иртышской волне.

---

[1] 23 октября 1581 г. на берегу Иртыша у Чувашского мыса (в трех километрах от нынешнего города Тобольска) произошла жестокая сеча между дружиной Ермака и подданными хана Кучума, решившая судьбу Сибирского царства. Войско Кучума было разбито казаками. Хан Кучум бежал в направлении своей столицы — Искер, расположенной у устья речки Сибирки.

Толкователь снов ишан Бибадша сказал, что белый волк это хан Кучум, а черный пес — враг, пришедший из-за дальнего Камня. За такое толкование хан велел посадить Бибадшу на цепь и вырвать ему язык.

Еще один странный сон снился хану. Над Иртышом, над горой Алафейской, где стояли кучумовы городки Бицик-Тура, Сузге-Тура, Абалак, разверзлось небо и с четырех сторон двинулись к Искеру воины — светлые, крылатые, гордые.

Этот сон хан не стал толковать у шаманов. О нем он никому не рассказывал.

Возле ханского кладбища Кучум замедлил езду. Лошадь шла шагом мимо старых, знакомых лип, стеной оградивших жилища мертвых. Деревья уже обронили свою листву и стояли оголенные, темные. Под копытами шуршала пестрая листва. Меж стволами деревьев белели могильные камни.

Тут покоился прах кучумова брата Ахмет-Гирея, коварно убитого посланцами из Бухары.

Ахмет-Гирей взял себе в жены дочь бухарского князя Шигея — двенадцатилетнюю девочку Салтаным. А когда Салтаным надоела ему, он отдал ее своему конюху простому татарину Аисе.

Салтаным тайно бежала в Бухару к отцу и Ахмет-Гирей совсем забыл о ней. Но однажды к Иртышу приближались на рыжих шибергамских лошадях всадники. Ахмет-Гирей в это время забавлялся ястребиной охотой на другом берегу реки. Широкая полоса воды отделяла его от пришельцев.

Всадники знаками стали звать Ахмет-Гирея. Приглушенные расстоянием долетали слова: «Приятные вести из Бухары».

Ахмет-Гирей сел в лодку и поплыл за приятными вестями. Когда нос лодки ткнулся в песчаный берег, над головой Ахмет-Гирея прошуршал аркан и тугая петля спутала его тело.

Посланцы прикрутили князя к лошади и поволокли в степь.

Через два дня кучумов карача нашел в степи страшный изуродованный труп. Только по клочьям дорогой одежды опознали в этом кровавом месиве Ахмет-Гирея.

Так отомстил Шигей за безчестие своей дочери. Хан Кучум за смерть своего брата еще не успел отомстить...

Рядом с Ахмет-Гиреем похоронена первая жена Кучума—Гулсыфат. Гулсыфат умерла старой и безобразной от болезни, которую бухарские лекари именовали «худой кровью».

Но Кучум вспомнил сейчас Гулсыфат такой, какой она впервые вошла к нему в юрту — тоненькой и стройной, как весенняя березка, развернувшая изумрудные трубки листвы и облитая солнцем.

Кучум еще был тогда не ханом, а только шибанским царевичем — молодым и сильным, как дикий, степной конь. У него не было ни богатств, ни царства, но все казалось ему возможным и доступным...

На могильной плите Гулсыфат были высечены слова из корана: «Он вечен и бессмертен, тогда как все умрет». Хан знал это изречение, но сейчас оно не утешало его.

Это смертное, подверженное тлению, рожденное в муках и борьбе «все» было Кучуму бесконечно дорого. Не вечности, не бессмертия, а власти земной жаждал хан.

С предельной ясностью Кучум представил, почти физически ощутил, как мчался он со своими всадниками по степям, чтобы покорить мир. Он видел примятые копытами лошадей росистые травы, горячие зори над степью, разоренные улусы, разметавшиеся по ветру волосы плачущих женщин, которых волочили за собой на арканах его всадники... Как много лет прошло с тех пор! Как хотел бы Кучум вернуть это время!

За темным лесом, за Иртышом пролегала дорога, по которой он впервые пришел в Искер.

Кучум разорил город, убил сибирских князей братьев — Булата и Эдигера и тела их отдал на съедение собакам. Но беременной жене князя Эдигера удалось бежать в Большую Бухару. Беглянку приютил знатный бухарский сеит, и она благополучно родила сына. Мальчика назвали Сейдяком.

Как жалел Кучум, что выпустил из Искера эту женщину. Зачем он не вспорол ее чрево, не уничтожил плод от плоти Эдигера. Теперь змееныш вырос и тоже тянется к царству Сибирскому.

А кто возвеличил это царство? Кто расширил его, подчинил кондинских, обдорских, казымских князей?

От белых березовых рощ Барабы до черных приобских лесов тянулись кучумовы владения. Кучум собирал ясак «со многих низовых язык». Воины Кучума ходили и на Чусовую реку дороги проведывать в Пермь Великую.

От первенца Чингис-хана — Джучи, от внука его Шейбани вел свою родословную Кучум, и не раз мечтал хан — не ему ли предначертала судьба возродить былое величие чингисова рода, грозою пройти по миру. Но из-за Камня Югорского явился этот маленький, черный пес, а с востока, из Бухары, тянется змееныш Сейдяк...

Сорок лет царствовал Кучум в Искере. А сколько стоит Искер — никто не знал.

Летописцы рассказывают: когда Чигис-хан покорил древнюю Бухару, он послал татарского князька Тайбугу собирать ясак в полунощную «Страну Мраков» — Сибирь. Там посол Чингис-хана Тайбуга «властию своею покори себе многих людей, живущих по реке Иртышу и Оби-великой». На реке Туре он поставил город Чингидин.

После Тайбуги, по летописям, княжил в Сибири его сын Ходжа, а затем сын Ходжи — Мар. Мару не повезло. Он женился на сестре казанского хана Упака, и молодая жена предала его. Упак умертвил Мара, завладел Чингидином и стал править сибирской землей.

Но в дальнем степном улусе, укрытый друзьями от глаз Упака, рос внук Мара — царевич Махмет. Когда Махмет достиг совершеннолетия, он собрал из сибирских татар войско и отомстил за смерть деда — разорил город Чингидин, а хана Упака убил.

Махмет не захотел жить в городе, где столько несчастий испытал его род. Свою столицу он построил на высоком прииртышском берегу, там, где в Иртыш впадает маленькая, бурливая речонка Сибирка. На вершине этой сопки лежали руины старого города — Сибирь-Туры. По преданию, этот город принадлежал царю Иртышаку. Но время стерло память об Иртышаке, высокими пихтами заросли развалины его города. И на руинах Сибирь-Туры выросла столица хана Махмета — город Сибирь-Искер.

Братья Эдигер и Булат, убитые Кучумом, были внуками Махмета. Два названия имела столица сибирских ханов — Искер и Сибирь. Иски — по-татарски значит древний, ер — земля. Древняя земля! О слове Сибирь старая легенда повествует. В давние времена на берегах Иртыша жил народ Сибыр. Люди Сибыр знали ремесла, умели возделывать землю, но не умели воевать. И когда из широких азиатских степей примчались всадники, вооруженные пиками, луками и кривыми саблями, народу Сибыр оставалось только покориться или умереть. Люди Сибыр предпочли смерть неволе.

Они вступили в бой с воинственными пришельцами и почти все погибли. Враг не пощадил ни женщин, ни детей, ни стариков.

Только трое из них остались в живых — глава рода и две юные прекрасные девушки.

Старик и девушки омыли студеной иртышской водой всех погибших и начали рыть для них подземелье. Двенадцать дней и ночей работали они. Кроты и лисицы, россомахи, волки, медведи помогали им. На тринадцатый день подземелье было готово, стволы старых пихт подпирали его своды. Старик и девушки перенесли в это подземелье трупы своих единоплеменников и затем подпилили столбы. Когда последний столб рухнул, земля обвалилась и погребла живых и мертвых. А на следующий день на том месте, где был похоронен народ Сибыр, начала вздыматься земляная волна. Она все росла, росла, пока над Иртышом не нависла высокая гора, на которой стоит город Сибирь-Искер.

Кучум знал легенду о народе Сибыр. И когда воины распахнули перед ним ворота столицы, он вспомнил это предание.

Нет, Кучум не хотел такой смерти, такой могилы.

Ему почудился отдаленный, глухой топот лошадиных копыт. Потом хан вспомнил: у казаков нет лошадей. И он ясно представил себе, как они пробираются пешком по его, кучумовым, следам к Искеру. Они осадят город...

Хан оглядел высокий крепостной тын, сторожевые башни...

Этот город-крепость может легко превратиться в западню.

У Кучума зрело решение покинуть свою столицу.

II

Лес как-то сразу поредел, расступился, и казаки вышли на открытую поляну.

Темными, приземистыми грибками лепились невдалеке глинобитные лачуги. Толмач Аиса сказал, что это и есть предместье ханской столицы — Алемасово.

И хоть простора кругом было много, домишки теснились близко друг около друга.

Особняком стоял и сразу бросался в глаза длинный, плоский, похожий на огромную коробку караван-сарай. Острый, зеленый серп полумесяца был водружен на шесте над его крышей. Казаки сразу узнали караван-сарай. Такие они видели в царстве Астраханском.

За Алемасовым подымался высокий, земляной вал, за валом темнели островерхие крыши сторожевых башен и зубчатый тын, за тыном притаился город Сибирь.

Ермак смотрел на земляной вал, на зубчатый тын и вспоминал весь путь, пройденный к этой крепости от быстрой речки Чусовой. Он вспомнил тот день, когда свернул свои струги с Чусовой в Сылву и понял, что нет дальше пути казакам, не течет эта река в страну Сибирь; вспомнил ту страшную ночь в городке Атпка, когда казаки решали, принимать ли бой с кучумовым полчищем (двадцать татар приходилось на каждого из них).

Поредели с той ночи казачьи ряды. Не стало Григория Дышла, Ивана Бражника, Прокофия Разумника, сложил свою буйную, пригожую голову ермаков любимец — Василий Птаха — первый весельчак и певун в своей сотне... Сто семь казаков полегло у крутого Чувашского мыса.

Коротким быстрым взглядом окинул Ермак свою дружину. Казаки стояли оборванные, утомленные, с давно нечесанными, взлохмаченными бородами, на многих лицах виднелись свежие, еще кровоточащие раны и ссадины от татарских стрел. Ермак хорошо знал каждого из них, и, как казалось ему, читал их мысли. Были они близки и дороги Ермаку, может ближе и дороже, чем сыновья отцу. Ермак выступил вперед, низко поклонился дружине по донскому обычаю и, указывая на зубчатый тын, сказал:

— Вот он, город Сибирь — сердце Кучумово, последний оплот ханский. Вырвем это сердце, други мои, не дадим хану опамятоваться, скопить силу! Понатужимся и вышибем. Не посрамим имени казачьего!

— Понатужимся, не посрамим, веди, атаман! — пошло по казачьим рядам.

Войско готовилось идти на приступ. Первой выступала сотня Богдана Брязги. С нею шел Ермак.

Казак Козьма Поспел нес хоругвь. Хмурился с иконы суровый лик Георгия Победоносца — покровителя ратных людей на Руси. Тонкий золотистый венец сиял над головой святого. Георгий мчался на крылатом коне и копьем пронзал врага. Копыта лошади попирали развалины вражеской крепости. На ветру хоругвь раскачивалась и повертывалась у древка.

Предместье ханской столицы было безлюдно. Наверно, все население его укрылось в крепости.

Казаки проходили мимо черных, закопченных кузниц, едко пахнущих сыромятиной кожевен, гончарен с выставленными у входов оранжевыми кувшинами, чашками, мисками... Миновав предместье, они приблизились к земляному валу и увидели впереди него глубокий ров.

Следы многих человеческих ног и круглые пятаки конских копыт бороздили смерзшуюся уже землю. Валялись кинутые лопаты, кайла, ломы. По всему видно было, что совсем недавно тут трудились люди, рыли или углубляли ров, насыпали накат, укрепляли свой город.

Деревянный мост вел через ров к скату вала. Ермак и Брязга подивились, что он не охранялся.

Казаки перешли мост и, полные решимости схватиться с неприятелем, начали взбираться к гребню вала. Тропа была крутой, извилистой и идти пришлось по одному. С гребня вала осажденные могли закидать казаков тучей стрел, копий, камней, облить варом. Каждое мгновенье Ермак ожидал — вот раздастся знакомый тонкий посвист татарской стрелы... Но на гребне холма никто не встретил казаков. Молчали сторожевые башни, и окованные узорчатым железом ворота были приоткрыты. Глухо хлопали на ветру спущенные цепи затворов. Город был пуст...

Скрипели распахнутые двери покинутых домов. У входов валялся, брошенный второпях, нужный и ненужный скарб, скопившийся в жилищах за много лет.

Где-то в глубине двора заржала лошадь. И от этого тоскливого, одинокого ржанья тишина казалась еще более полной, город еще пустынней.

Только теперь Ермак понял, какой удар нанес Кучуму под Чувашом. Когда татары оставили Чувашову гору, Ермак ожидал, что Кучум, отступив, устроит засаду по пути к Искеру, сразится на подступах к своей столице, наконец, будет защищаться в самой крепости.

И сейчас вспомнилось Ермаку, как стоял он со своей дружиной на узком прибрежье под Чувашовой горой. Высокой колючей стеной щетинилась впереди засека. Из засеки неслись тучи стрел, бранные выкрики, смех. Татары издевались над малочисленным казачьим войском... Всего три дня прошло с тех пор, и Кучум без боя оставил свою столицу.

Ермак велел выставить крепкие караулы у моста, ворот, дозорных на башнях и ввел свою дружину в город Сибирь.

Шли строем, не нарушая боевого порядка, по сотням, полусотням, десяткам.

Узкая кривая улочка вела к площади. На площади высился, крытый цветным войлоком и коврами, шатер. Рядом стремительно уносил в небо свой голубой купол минарет мечети. Шатер и минарет как бы увенчивали сопку.

Казаки приближались к шатру. Под ногами хрустели обломки глиняной посуды, тонкого китайского фарфора, разрисованного голубыми птицами, переливчатого, блестящего иракского стекла. С дальними странами вел торг Искер.

Посреди площади перед шатром стояли колья со вздетыми на них почерневшими головами казненных. Это были головы тех, кто не хотел уверовать в Магомета. Хан Кучум стремился сделать всех своих подданных правоверными мусульманами.

Тридцать мулов и абызов приехали из Бухары в страну Сибирь проповедовать веру Магомета. Вместе с ними прибыл и шейх Хаким.

Сам Магомет являлся во сне к шейху и открыл ему, что в Сибири покоятся кости семи правоверных святых. Святые требовали, чтобы сибирские татары, остяки, вогулы приняли обрезание. Даже могилы этих святых нашел шейх на старых мизаретах и устраивал в их честь пышные поминовения. Но остяки и вогулы упорствовали

и продолжали поклоняться своему старому деревянному божку Раче.

В покоях ханского дома-шатра казаки нашли беспорядочно разбросанный, пестрый скарб.

Небольшие оконца, затянутые бычьими пузырями, скупо пропускали свет, и в полумраке тускло поблескивала жирная позолота решетчатых рам. Тяжелые бухарские и мазандеранские ковры были сорваны со стен. Прозрачные струйчатые китайские шелка, похожие на светлые морские волны, на серебристые весенние облака, валялись на полу рядом с сырыми юфтовыми кожами. Яркие полосатые халаты прикрывали тарелки с недоеденной снедью. Пушистым пестрым ворохом были свалены в углу меха — шелковистые темные соболи, дымчатые белки, голубые песцы, красные и чернобурые лисы, огромные медвежьи шкуры. В ларцах лежали золотые и серебряные серьги, браслеты, сердоликовые бусы, будто впитавшие в себя зеленоватый лунный свет, и украшения, сделанные остяцкими мастерами из медвежьей кости, рыбьих зубов, разрисованные черточками, квадратиками, кружочками, похожими на неведомые письмена. На высоком ханском седалище стоял простой глиняный кувшин.

По всему видно было, что хозяева очень поспешно покидали свое жилище. Лишь малую часть богатств вывез Кучум из своей столицы.

«И взяв себе мало нечто от сокровищ своих и вдашися невозвратному бегству, а град Сибирь оставиша пуста,—повествует летописец о Кучуме,—богатства же от злата и сребра, и наволоки златыя, и каменье многоценное, и драги куны, соболи, бобры и лисьи драгоценные вельми множество оставиша казакам».

III

Через несколько дней к воротам Искера приблизился олений караван, груженный тяжелыми вьюками. Впереди ехал толстый, рыхлый человек в высокой собольей шапке, белой малице, опушенной песцами. Кожаный пояс, унизанный, как чешуей, блестящими пуговицами и подвесками, низко подпоясывал его грузное тело. К поясу был подвешен нож в узорчатых кожаных ножнах и такая же сумка.

Человек подошел к воротнику и знаками начал объяснять, что хочет войти в город. Он низко кланялся и указывал на оленей. Это был остяцкий князь Бояр — владетель стойбищ на реке Демьянке.

О пришельце сказали Ермаку и он велел привести Бояра к себе. Князь подошел к знакомому шатру, в который столько раз приходил на поклон к хану Кучуму и пал ниц у входа. Так он лежал, пока чьи-то крепкие руки не подняли его. Бояр увидел невысокого, плечистого человека с черной, окладистой бородой и темными внимательными глазами. И хоть незнакомец был в старом подбитом паклей шляе[1] (хана Кучума Бояр привык видеть в пышных, златотканных одеждах), князь все же почувствовал, что это и был новый властитель Искера. Он с удивлением разглядывал простого русского воина, так быстро одолевшего могучего хана.

С помощью толмача Ермак начал разговор. Бояр рассказал, как велики были владения Кучума, какие князья оставили хана после битвы под Чувашовским мысом и о всех своих обидах, накопленных за много лет.

Ермак обещал остяцкому князю защищать его от Кучума и на прощанье подарил серебряный меч из ханской кладовой.

По обычаю своих предков, Бояр поклялся в верности царю Ивану на шкуре бурого медведя и поднес Ермаку дары: дорогие меха, кожи, оленье и медвежье мясо, рыбу. Особенно много было рыбы — огромных нельм, сырков, лососей, максунов.

Из Искера Бояр уехал очень довольный и по пути разносил весть о храбром и добром русском атамане.

Вслед за остяцким князем в Искер пришел татарин Осман. С собой он привел всех своих жен, детей, домочадцев и скрипучие сани, груженные домашним скарбом. За санями понуро плелась отара овец.

Был Осман первым силачом в Сибирь-городе и Алемасове и лучшим кузнецом. Одной рукой он сгибал подкову и останавливал на скаку самых быстроногих жеребцов; искуснее его никто не умел оттачивать наконечники для стрел и подковывать лошадей. Только ему доверял Кучум своих горячих, тонконогих текинцев.

Вместе с Османом пришел его сосед гончар Ишгей с семьей.

---

[1] Кафтан

Ермак сам вышел к пришельцам и сказал, что могут они жить в Искере, железо ковать, посуду обжигать, и никто обиды им чинить не станет.

Что ни день, к казакам приходил простой татарский люд... Теперь уже дорога в Алемасово не была пустынной. Крепкие, приземистые татарские лошаденки, лохматые северные собаки, степенные, медлительные быки везли добро своих хозяев. Кто был победнее, тянул свой скарб сам на ручных санишках. Щелкали длинные татарские бичи, гортанно покрикивали погонщики, плакали ребятишки. Снежную пыль подымали отары овец.

Ермак радушно принимал пришельцев, разрешал им селиться там, где они жили раньше, заниматься ремеслами, вести торг, и даже звал на службу к русскому царю.

Дивил татар своей милостью новый властитель Сибирь-города. Будь на его месте Кучум — давно бы висели на кольях возле мечети головы тех, кто ушел с врагом.

Задымили трубы домашних очагов, кожевен, гончарен. Звонко и чисто бил кузнечный молот по железу. Мерно скрипели жернова тир-мэне. Тонкое лезвие топора врезалось в душистую древесную плоть сосен и пихт. Казаки чинили крепостной тын, мосты, жилые дворы, ставили срубы часовни. Церковный старец Зосима чистил золой оклады, наводил благолепие на исхлестанные сибирскими ветрами и дождями иконы Георгия Победоносца, Николая Угодника, Михаила Архангела.

Люди устраивались на долгую домовитую жизнь...

IV

По узкой деревянной лестнице Ермак поднялся на верхнюю площадку дозорной башни, осмотрелся и еще раз подивился неприступности Искера.

Только один подступ к крепости оставила природа: узкую полосу со стороны Алемасова, но и ее преградили люди рвом, валом, крепостным тыном.

С полунощной стороны город огибал глубокий лог, с полуденной — пятидесятисаженный крутояр Иртыша. Скаты лога поросли смешанным лесом. В свежей зелени пихт и сосен сквозили осыпавшие свою листву осины, рдела красноватая хвоя елей. По дну лога пробиралась к Иртышу бурливая, капризная речонка Сибирка. Сейчас

она замерзла и сизой тонкой ниткой виднелась в тех местах, где лес отступил от ее берега. За Сибиркой тянулась гряда сопок, одна на другую похожих — с лысыми вершинами и мохнатым хвойным поясом у подножий.

Ермак взглянул вниз. Гора спадала круто, почти отвесно. Точно срезанный огромный коричневый ломоть, высился в этом месте берег над Иртышом.

Отсюда, с верхней площадки дозорной башни, Иртыш был виден очень далеко. Река текла извилисто, кружила среди лесов. Она то разливалась широким, спокойным озером, то поворачивала свое русло огибала мыс, луку, суживалась. Заречье — левый берег Иртыша — лежало как на ладони.

В кольце тальниковых зарослей и березовых рощ раскинулись луга. Белоствольные березы казались вылепленными из снега. За березником спокойно синела хвоя лесов. Падал снег. Косые белые полосы плыли в воздухе и светлыми мохнатыми островками оседали на лед реки, затягивали бурые плешины на лугах.

На глазах хорошела, молодела приодетая снежными иглами осока, белее и тоньше становились березы.

Под неярким зимним солнцем заснеженная земля загоралась чистым белым пламенем. Летучие тени облаков скользили по снегу, на какое-то короткое мгновение гасили его белизну и убегали в леса.

Строгая, величавая краса земли Сибирской!

Ермак уже видел, как вырастают на высоком прииртышском берегу русские города с золотыми куполами церквей, затейливыми гребнями крыш, крепостными башнями и стенами, выложенными из здешнего крепкого леса.

По пустынным просторам полноводной реки поплывут струги, шнявы, дощаники, груженные драгоценными мехами, кожами, мясом, рыбой, хлебом, из Сибири на Русь, из Руси в Сибирь и из дальних, неведомых стран — Бухары, Китая. И оживет страна Сибирь...

Ермак подставил грудь ветру, широко развел руками и неожиданно для себя громко крикнул:

— Эгей! Принимай, Русь, страну Сибирь!

Дрогнула застоявшаяся тишь, гулкое эхо покатилось от ближних холмов и отдало обратно слова: «при-нима-ай, Р-у-с-ь, с-т-ра-ну-у С-и-би-ирь!».

Т. ГОНЧАРОВА

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Нас, корреспондентов, часто упрекают редакторы, а иногда, наверное, и читатель за то, что мы не умеем показывать опыта передовиков производства. Да и сам подчас, пишешь корреспонденцию с завода и чувствуешь, что не раскрыл ты в ней самого главного. Скажешь, что дал стахановец 500 процентов нормы или выполнил две — три годовых нормы, а как и почему он добился таких замечательных успехов?

И снова садишься и пишешь, стараясь ни о чем рассказанном на заводе не забыть: «Инструменты всегда под руками, на работу приходит за 10-15 минут до гудка, каждая минута на учете, задание берет с вечера...»

— Э... — скажет редактор, — эта Америка давно открыта. Что это за рабочий, если его инструменты не под руками, если он на работу опаздывает и в рабочее время занимается посторонними делами. Наивно говорить об этом, когда вы пишете о людях, выполняющих нормы на 300, 400, 500 процентов!

Недавно выпала на мою долю честь беседовать с рабочими, выполнившими на своих станках пятилетний план. Они должны были собраться в комнате завкома. Председатель завкома тов. Голубицкий, человек терпеливо-радушный к корреспондентам, встретил меня словами:

— С замечательными людьми вас познакомлю!

Спустя несколько минут после гудка, в дверях завкома выросла фигура молодого человека в распахнутом настежь коротком пальто, с русым чубом над высоким лбом. Он обвел комнату быстрыми и смелыми серыми глазами и спросил:

— Кому нужен Завьялов?

— Всем, — ответил председатель завкома, — всему народу! А в данный момент — корреспонденту!..

Передо мной стоял человек, доброй славе которого было уже тесно в пределах области, и весть о его трудовом подвиге разнеслась по всему Союзу. Это был знатный слесарь завода Николай Федорович Завьялов, выполнивший в первом году новой сталинской пятилетки 7 с половиной годовых норм!

Вслед за ним вошел и молча сел к столу Александр Борисович Миличев, выполнивший на своем станке план пяти лет. Не заставили ждать себя и Павел Михайлович Колосов, токарь-виртуоз, внесший в фонд новой пятилетки шесть годовых норм, Михаил Поликарпович Чупрына — механик или, как любовно именуют его на заводе, доктор механических наук, давший в этом году шесть с половиной годовых норм, Борис Карпович Сушко — слесарь-автоматчик, сумевший дать на своих сложных станках невиданную ранее производительность.

Это были лучшие люди завода, цвет рабочего класса, люди, постигшие искусство выполнения пятилетнего плана в один год.

Мы начали беседу с того, что было главной целью этой встречи.

— Расскажите об опыте вашей работы, — о том, как и какими методами, приемами добиваетесь вы таких замечательных успехов в труде, — попросила я. — Расскажите о самом главном, что дает вам возможность удивлять мир такой невиданной производительностью труда. Вот вы, Николай Федорович, — обратилась я к Завьялову, — можете рассказать о методах вашей работы?

— Что ж, почему не рассказать, с удовольствием расскажу, — с готовностью отозвался знатный слесарь и, положив на стол небольшие, гармонично слепленные и, очевидно, сильные руки, чуть-чуть нахмурившись, он начал рассказ.

— Прихожу я в цех минут за 10 — 15 до начала работы, обдумываю задание, о котором знаю еще с вечера. Инструмент у меня всегда под руками, рабочее место в порядке, от работы не отвлекаюсь и берегу каждую минуту.

Николай Федорович замолчал и по лицу его прошла тень какой-то внезапной ласковой думы.

— Рассказывай, рассказывай, что же ты, — заговорил опять Голубицкий, — и еще что?

— Еще? Ну основное, конечно, в том, что дело я свое знаю досконально, до тонкости... Я его делаю, как бы это сказать... ну, как песню пою...

— Ну вот вы и расскажите, как вы поете эту песню, — допытывалась я.

— Так что же рассказывать-то, пожалуй, в основном все и рассказано.

Я рассказала стахановцам откровенно о своих затруднениях, о той задаче, которую ставит перед корреспондентом редакция, и мы стали думать все вместе, как бы рассказать подробно, предметно и поучительно об опыте их работы.

Повернув ко мне голову, с глубоко нахлобученной на нее кепкой, из-под козырька которой смотрели на меня с дружелюбной снисходительностью большие и немного усталые глаза, Александр Борисович Миличев сказал:

— Что касается меня, то я, право, не смог бы ничего прибавить к тому, с чем рассказал Николай Федорович. Я считаю, что опыт этот заключается в том, чтобы, во-первых, знать и все больше узнавать технику своего дела, своего производства, во-вторых, работать добросовестно. Если добьется коллектив этих двух условий от каждого рабочего — значит, успех обеспечен.

Я знала, что цех, где работает стахановец Миличев и где он председатель цехового комитета, лучший на заводе, и попросила его рассказать о своем коллективе.

— Цехом своим я могу гордиться, — говорит Александр Борисович. — С первого дня Отечественной войны держим мы переходящее красное знамя завода. В коллективе цеха сейчас нет рабочих, которые не выполняли бы норм.

— Таких-то у нас и на заводе нет, — заметил председатель завкома, — а вот что замечательно в этом цехе — это то, что большая часть рабочих выполнила к ноябрю от одной до пяти годовых норм.

— Если подумать об этом, — продолжал Миличев, — то нет ничего проще ответить на вопрос, почему и как мы этого добились. Я так думаю: за спиной у рабочих три пятилетки, многие из рабочих, проще сказать большинство, пришли на заводы, когда и заводов-то не было, — пришли землекопами; всего и техники-то — лопата да кирка. Потом становились каменщиками, штукатурами, строителями, монтажниками. Завод рос и люди вырастали вместе с ним, вместе со страной. К станкам

стали учениками, а после, вслед за Стахановым, ставили знаменитые рекорды.

— Техника у рабочего вместе с политикой, как одно. А тут война — она всех стахановцами сделала: каждый у своего станка мараковал, как бы побольше, получше, покрепче сделать, каждый в какой-то степени рационализатором был, да еще и других учил. Вот в начале войны, когда часть рабочих ушла с нашего завода на фронт, приняли мы в цех много молодежи, совсем зеленой, которая и не нюхала техники. Мы, старые рабочие, душу в нее, в эту молодежь, вложили, и теперь те ребята — четвертого, пятого, шестого разряда слесари. Вот Гудович у нас, например, мальчишкой пришел в цех, а теперь, пожалуйте, четвертую годовую норму завершает. Ну, а без этого мы и не дождались бы праздника на нашей улице. Сталин, когда говорил об этом празднике, он знал, что народ изо всех сил на победу работает.

— А что касается опыта, тут, если передавать его, надо о конкретных случаях говорить, а насчет конкретных случаев, — и Миличев, улыбнувшись, повернулся к Завьялову, — насчет таких случаев у нас Николай Федорович—самый большой мастак. Расскажи-ка, Николай Федорович, как ты, например, кулачки раскулачил!

— Это о задании обкома? — спросил Завьялов. — Ну что ж, был такой важный заказ заводу. Срок — в обрез. И нужны были для того изделия кулачки, деталь такая. Дело по природе мое. Вызывают меня в партком, говорят, на тебя надежда! Подумал я — срок безусловно рискованный, прямо вот... — и Николай Федорович показал на кончик мизинца. — Но, думаю, еще не подводил ни завода, ни партию.

— Крепко я подумал над заказом, и так и этак примерял. По технологии 85 минут на этот кулачок нужно потратить. Не согласуется технология со сроками... Оставил я тогда ту технологию, стал искать подходящую. И решил я механизировать зачистку и полировку деталей. Приспособил для этого горизонтально-фрезерный станок, выточил планшайбу, сделав ее в виде шлифовального диска, опробовал. Не скрываю, волновался. И... пошло. Лучше, чем думал, пошло, вместо 85 в 6 минут — деталь готовенькая! Выполнил я тогда норму ни много ни мало на 1400 процентов!

— Что из этого вытекает? Технику освоил я, вроде как музыкант: знаю, что на какой ноте играть, как и что

приспособить в деле, в станке. Вот, например. другой случай. Получил я задание на изготовление одной детали. По норме установлено было 25 штук за смену. Не устраивало меня это. Серьезно подумав, решил я кое-что изменить. Решил и сделал, и дал за смену не 25, а 600 штук — норму выполнил на 2400 процентов.

— Крепко заработал! — откликнулся Голубицкий.

— Так разве ж о заработке речь, — с усмешкой взглянул на него Завьялов. — Заработал я за эту смену, правда, 1400 рублей, но не в том дело!

— Все-таки детишкам на молочишко, — не унимался председатель завкома. Все засмеялись и даже молчавший до той поры механик Чупрына. И от слов Завьялова, душевной теплоты, прозвучавшей в смехе, все сидящие здесь стали будто ближе друг другу и, может быть, это дало корреспонденту право задать Завьялову еще один вопрос, который должен был осветить главное в его великолепном труде.

— А в чем же дело?

Простые и естественные, чуждые каких-либо патетических интонаций, прозвучали в ответ слова Завьялова:

— Я коммунист. Мы все здесь коммунисты, партийные и беспартийные. Нам надо побыстрее выполнить пятилетку.

Я занесла в блокнот слова стахановца, хотя они не относились к тому, о чем я должна была писать. То, что хотел передать он ими, перерастало производственный опыт, раскрывало другой, политический опыт Завьялова и его товарищей, опыт всего рабочего класса нашей страны, опыт, полученный в трех сталинских пятилетках, двигавших государство рабочих и крестьян к расцвету, могуществу, славе. Опыт, вырастивший людей, вооруженных не только знанием техники, но и высоким сознанием своей политической ответственности перед народом, могучую всепобеждающую веру в правоту дела партии, рабочего класса, народа.

Мои размышления прервал Голубицкий.

— Обобщая производственный опыт тов. Завьялова, — сказал он, подчеркивая слово «производственный» и этим как бы утверждая мою мысль, — вы можете записать, например, так... И я записала:

«Товарищ Завьялов рационализирует методы своей работы, применяет различные приспособления, заменяет ручные операции механизированными, чем резко умень-

шает подготовительное и заключительное время, сокращает непроизводительное время (вспомогательное), сокращает холостые хода станков, а также тов. Завьялов уделяет особое внимание сокращению машинного времени... Словом, — заключил Голубицкий, комически разведя руками, — работает по-стахановски!»

Молчаливый Чупрына снова засмеялся и вступил, наконец, в разговор.

— Главное, — сказал он, — это знание техники, позволяющее рационализировать на ходу процессы производства. Что должно и будет двигать сейчас производительность труда? Механизация производства!

Вдумчивая мягкость голоса Чупрыны невольно концентрировала внимание всех на его словах.

— Ну, это механик выступает, значит, главное — механизация, — пошутил кто-то.

— Да, механизация, — невозмутимо продолжал Чупрына и даже встал, готовясь защищать свое мнение, которое никто и не думал опровергать. — Механизация и автоматизация — вот то, что должно помочь нам быстрее справиться с нашими задачами,—продолжал он, поблескивая умными глазами, и, слушая его мягкий убеждающий голос, я вспомнила недавно прочитанную статью и в связи с ней подумала о другом участнике этой беседы — Борисе Карловиче Сушко.

В этой, пришедшей мне на память статье я прочла о том, как один талантливый американский инженер в наши дни изобрел умнейшую машину — автомат, заменяющий в производстве несколько сот рабочих. Это была его большая творческая победа, которая пришла после долгих мучительных исканий и напряженного труда. И вот инженер, будучи человеком высокой нравственности, близко принимающий к сердцу судьбу трудовых людей, разрушил свою прекрасную машину. Он был напуган ее совершенством! Она могла стать конкурентом рабочих, штрейкбрехером, могла оставить без работы и хлеба тысячи людей, пополнить и без того огромную армию американских безработных.

Подобные этому чудовищные парадоксы являет нам капитализм ежедневно, ежечасно, и великая могущественная техника, продукт многовековой человеческой культуры, освобождающая человека от тяжелого физического труда, в условиях капитализма становится злейшим врагом человека.

Таков капитализм. А у нас создан совершенно иной мир, мир новых отношений между человеком и техникой, человеком и продуктом его труда, человеком и человеком. Каким теплом, какой неизбывной радостью наполнится сердце, впитывая разум и справедливость этого мира. Как вольно и гордо взметнется мысль, обращенная к тому будущему, которое мы называем — коммунизм, к будущему, которое уже живет в обычаях и привычках народа, вырастает и крепнет в сознании строителя, борца за это будущее, уже говорит с нами языком государственных законов. Разве не о нем читаем мы в величественном документе нашей эпохи, в законе о новой сталинской пятилетке, и разве не оно звучит в простых и безыскусственных словах Завьялова и его товарищей!

Жалкий, беспомощный гуманизм американского инженера, уничтожающего технику, — у них, и рабочий, создающий технику, — у нас. А ведь именно рабочие-стахановцы и являются застрельщиками, инициаторами механизации, автоматизации. С одним из них я и хочу познакомить читателя.

* * *

Приятный и мелодичный гул встречает нас в дверях этого удивительного цеха, где станков в три раза больше, чем людей, и каждый станок производит деталей в сотни раз больше, чем может сделать их один рабочий на обычном станке. Это — цех автоматов, признанных и уважаемых нами машин, уважаемых и признанных за то, что они облегчают человеческий труд, сокращают трудовые затраты народа, освобождают тысячи людей для плодотворного труда в других отраслях народного хозяйства. Автоматизация производства — одна из важных задач новой пятилетки.

Сколько может сделать автомат? Технологический процесс той или иной детали на автомате разработан до долей секунды. Не технология, а, иногда кажется, сама природа вещей уступает воле советских людей. Мы знакомимся с человеком, творческое вдохновение которого сделало возможным, вопреки самой скрупулезной и выверенной технологии, выжать из автоматов втрое больше и дать к концу ноября этого года две годовые нормы на своих сложных станках. Этот человек — Борис Карлович Сушко.

Высокий и статный, с широко развернутыми плечами, с уверенным блеском молодых глаз, поистине командир своего металлического войска, проходит он перед строем автоматов. Слух его ловит, контролирует ритм каждого механизма, глаза всматриваются, проверяют четкость его движений. Совершенное знание автомата, беспокойные поиски все новых и новых возможностей, творческая напряженность отличают его труд.

Были дни, когда завод периодически испытывал затруднения, вызванные срывом выпуска одной детали. Эта трудоемкая, непокорная и хитрая деталь часто ставила под угрозу выполнение общезаводского плана выпуска продукции.

Много раз уже приходила Борису Карловичу смелая мысль пустить эту деталь на автомат. Существующие на заводе автоматы не соответствовали габаритам деталей, но Борис Карлович имел на этот счет свои соображения. Нужно было кое-что изменить в станке, кое в чем нарушить существующие технологические каноны. И когда после четырех суток волнений, труда, надежд, разочарований и вновь надежд, станок дал первую партию нужных деталей, Борис Карлович, сияя молодыми глазами на похудевшем лице, доложил администрации:

— Наша взяла! Пошли детали! — И возбужденный победой, промечтал вслух: — Весь завод, всю промышленность на такие машины перевести бы!

С этого времени упомянутая деталь, выпускаемая прежде одним рабочим в количестве ста штук за смену, — на одном автомате выходит за сутки в количестве 3500 штук.

У Бориса Карловича — 7 классов образования, долгий путь производственной практики, светлая голова и золотые руки. Он так же, как и все, раньше приходит на работу, тщательно обдумывает предстоящие трудовые операции и т. д. Но не только это помогает ему подчинить своей воле движение сложных металлических организмов. Не только это...

Но мы отвлеклись. Мягкий голос механика Чупрыны требует внимания.

— Очень важно для любого рабочего знать смежные профессии, — продолжает стахановец Чупрына. — Мне, как механику, положено, конечно, знать любой станок.

— Как только нужно осваивать новые изделия, — прерывает его Голубицкий, — первые опытные партии деталей, первые образцы проходят через руки Чупрыны. Если речь идет о новом изделии, мы слушаем, что скажет Чупрына. Ну, расскажи сам что-нибудь, — просит он механика. — Расскажи, как ты делаешь образцы деталей по фотографиям иностранных журналов. Да, да, не удивляйтесь, хотя это и в самом деле удивительно! Без чертежей, просто с картинки!

Скромный Чупрына смущен.

— Да ты уже все сказал, — говорит он, — пусть Павел Колосов расскажет. Сколько у тебя годовых норм? — обращается он к Колосову.

— Шесть, — отвечает за того Голубицкий. — Будьте уверены!

Токарь Павел Колосов — самый молодой из сидящих здесь. Крутолобый, с упорным, каким-то цепко-внимательным взглядом, он сразу смело, красиво и увлеченно рассказывает о своем труде, о своей жизни, о взглядах на жизнь. Он продолжает естественный ход беседы, ведет ее к логическому завершению.

— Я не об опыте, в нем нет ничего особенного. Дело в том, вы понимаете, труд меня захватывает... Я люблю технику, читаю все, что попадет по техническим вопросам, и вообще живу, знаете, с какой-то жадностью ко всему, что может меня чему-нибудь научить. Зачитываюсь газетами, политика особенно интересует меня. Книга, радио, театр, кино. И вижу, глубоко понимаю все, что вокруг меня, вокруг моего станка. Такая кипучая жизнь! Борьба! И не за кусок хлеба, он есть у нас, а за целую жизнь — большую, красивую! Вы понимаете...

— Когда был принят закон о пятилетнем плане, я прочел его, вдумываясь в каждый пункт. Меня это захватило... Перспективы... Я тогда же взял обязательство выполнить на своем станке пятилетку в этот первый год. И я дал уже шесть годовых норм!

Как сверкают эти полные жизни глаза, как прекрасно лицо тем легко уловимым выражением безудержной и пылкой мечтательности, полета. Кто он? Поэт? Инженер? Оратор? Нет. Это рабочий, один из миллионов, молодой советский рабочий из числа тех, которые как-то неза-

метно выросли вокруг нас, питаемые живительной и благотворной пищей социалистического сегодня, устремленные в своем творческом труде к коммунистическому завтра.

Любовь к народу, к Родине, к Родине советской, большевистской — вот самое главное в труде советского человека, начало всего, движущая сила его замечательных дел, его боевых и трудовых подвигов.

Г. ХИМИЧ,

Директор-подполковник движения,
начальник планового отдела
Омской железной дороги

ПЯТИЛЕТКА ОМСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

...Рассекая зимние вечерние сумерки, поезд промчался мимо станции Кормиловка. Еще два перегона — и Омск. Иван Павлович Быстров, машинист электродепо Московка, торопился домой. Нужно было не только прибыть по расписанию, но и нагнать 10 — 15 минут.

Иван Павлович имеет на своем счету много минут экономии. Он не только выполняет, но и перевыполняет нормы оборота электровоза. Но сегодня он спешит еще по одной причине. Сегодня — день рождения младшей дочери Веры. Иван Павлович знает, что дома точно рассчитают, когда он должен прийти. В графике поездок, который висит у рабочего стола, показано время прибытия поезда в Омск, а время на сдачу электровоза и переход от депо до дома уже подсчитано за неоднократные поездки Ивана Павловича.

Торжественную минуту встречи за праздничным столом нельзя омрачать опозданием. А Ивану Павловичу надо еще забежать к старому приятелю Нефедову, с которым на паровозе «СОК» они ездили напарниками. Уходя утром на станцию к прибытию своего электровоза, Иван Павлович забыл сказать жене, чтобы Нефедову напомнили о вечере. Вспомнил он об этом только тогда, когда выехали из Исилькуля. Следуя до Татарской, Иван Павлович мог позвонить домой по телефону во время стоянки в Омске. Но в поезде грелась одна вагонная букса. Иван Павлович боялся, что слесари-вагонники затянут ремонт или что-нибудь упустят. В пути следования это проявится, и поезд выбьется из расписания. Поэтому он сегодня, как и всегда в таких случаях, присутствовал при ремонте.

И вот теперь, подъезжая к Омску, Иван Павлович нагонял время для того, чтобы забежать к другу и во-время явиться домой.

Мерно постукивали колеса. За окном мелькали переезды, путевые будки, непрерывной темной лентой убегали стройные ряды лесонасаждений.

Неожиданно повалил густой липкий снег. Видимость резко снизилась. Но поезд шел, не замедляя хода. Кебсигнализация давала возможность, не вглядываясь в темноту, следить за показанием путевых светофоров. Маленький светофор в кабине управления показывал зеленый огонь. Путь свободен.

Иван Павлович вспомнил, что совсем недавно, на паровозах, в такую погоду приходилось тяжело. Открытая местность давала полную волю разбушевавшейся стихии. Машинист паровоза, силясь преодолеть пелену бурана, все время напряженно смотрел вперед; его помощник и кочегар, освободившись от очередной подачи угля в топку и воды в котел, помогали следить за сигналами.

Вспомнились в эту минуту Ивану Павловичу и случаи проезда недостаточно бдительными машинистами запрещающих сигналов. Нередко такие случаи кончались крушениями и авариями поездов с тяжелыми последствиями.

Автостоп, которым оборудован электровоз, не позволяет проехать красный сигнал. Это приспособление останавливает автоматически подошедший к закрытому сигналу поезд.

Вдали замелькали огни Московки. Иван Павлович взглянул на воздушный манометр. Стрелка показывала полное давление в поездной магистрали автоматического тормоза.

Через несколько минут поезд плавно остановился на парковом пути. Очередной рейс машиниста электровоза «ВЛ-22 № 789» Быстрова закончился. Сдав готовый к дальнейшему следованию электровоз своему напарнику, Иван Павлович имел еще время заехать за своим другом и без опоздания явиться домой к семейному торжеству.

Что было на семейном вечера и как закончился день рождения Веры Быстровой, мы не знаем. Этот день будет в 1949 году. Только к тому времени машинист Быстров сможет сделать очередной рейс на электровозе.

А сегодня машинисты Омской железной дороги на мощных паровозах «Серго Орджоникидзе» («СО») с конденсацией пара перевозят грузы первого года новой сталинской пятилетки.

☆ ☆ ☆

«Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих птиц, ...дома близ дороги погорят, а самое путешествие будет грозить жизни, так как в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски и все пассажиры».

Так писал один английский журнал на заре зарождения железнодорожного транспорта.

Смешными и жалкими кажутся эти слова в наш век.

Железнодорожный транспорт — это кровеносная система каждого государства. Нельзя представить себе современное государство без железнодорожного транспорта.

Особенно важен железнодорожный транспорт для советского государства, раскинувшегося на тысячи километров в Европе и Азии. «...СССР, как государство, был бы немыслим без первоклассного железнодорожного транспорта, связывающего в единое целое его многочисленные области и районы» (Сталин).

Вот почему в пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946 — 1950 гг. железнодорожному транспорту отведено большое место. В него вкладывается 40,1 миллиарда рублей или почти шестая часть всех капиталовложений, предусмотренных новой пятилеткой.

Техническое перевооружение и усиление железных дорог необходимо для выполнения той огромной работы, которую возлагает новая сталинская пятилетка на железнодорожный транспорт. В 1950 году железные дороги Советского Союза должны довести среднесуточную погрузку до 115 тыс. вагонов и грузооборот — до 532 миллиардов тонно-километров. В канун первой мировой войны грузооборот дорог царской России составлял всего 65,7 миллиарда тонно-километров, в канун второй мировой войны грузооборот дорог Советского Союза достиг 415 миллиардов тонно-километров, или увеличился

в шесть с лишним раз. По сравнению с 1913 годом грузооборот железных дорог в 1950 году вырастет в восемь раз, в то время как эксплуатационная длина их увеличится в два раза. Грузонапряженность, или другими словами — количество тонн груза, которое пройдет через каждый километр пути, возрастет в четыре раза.

Но не везде равномерно повысится нагрузка на железнодорожный транспорт.

На Урал и в Западную Сибирь за годы Отечественной войны перебазировано 1300 промышленных предприятий.

Развитие существующих и рост новых предприятий в Сибири и на Урале значительно увеличили потребление кузнецкого и карагандинского угля, усилили хозяйственные связи названных районов.

Железнодорожная линия Новосибирск—Омск — Челябинск не в состоянии будет справиться с растущими перевозками. Поэтому закон о пятилетнем плане на 1946 — 1950 гг. предусматривает большое строительство новых железных дорог в Сибири и на Урале.

Создается второй железнодорожный выход из Кузбасса на Урал и в Поволжье по сталинско-магнитогорской магистрали. Эта новая железнодорожная линия пойдет от Сталинска (центра Кузбасса) через Барнаул, Кулунду, Павлодар, Акмолинск, Магнитогорск на Куйбышевскую железную дорогу.

Она обеспечит прямой выход кузнецкому углю к заводам южного Урала.

Для усиления транспортных связей районов Средней Азии будет построена новая линия Моинты — Чу, по которой уголь Карагандинского бассейна будет перевозиться по кратчайшим расстояниям. Если сейчас от Караганды до входной станции Туркестано-Сибирской железной дороги насчитывается 3313 километров, то по новой линии будет лишь около 450 километров, или в семь с половиной раз меньше.

В 1946 году, первом году новой пятилетки, начато строительство железной дороги Малиновое Озеро — Семипалатинск. Эта новая линия соединит Омскую железную дорогу с Турксибом, что в шесть с половиной раз сократит путь перевозки хлеба из Кулундинских степей в Среднюю Азию.

Несмотря на строительство новых железнодорожных линий в Сибири, значительно увеличится грузооборот и существующей сибирской магистрали. Омская железная дорога, являясь центральной частью Урало-Сибирской магистрали, к концу пятилетки будет иметь грузонапряженность на один километр эксплоатационной длины в 15 миллионов тонно-километров. Для сопоставления следует сказать, что грузонапряженность железных дорог США составляла в 1944 году 3,1 миллиона тонно-километров.

Программа капитальных работ по усилению технической вооруженности Омской железной дороги на 1946 — 1950 гг. поистине грандиозна.

Пятилетний план усиления Омской железной дороги предусматривает перевод на электровозную тягу главного направления — от Чулымской до Макушино — протяжением 905 километров.

Электрификация коренным образом изменит лицо дороги.

Паровоз сам производит для себя энергию — пар, поэтому он всегда должен иметь запасы топлива и воды. Эти запасы пополняются на станциях, для чего построены крупные сооружения — пункты водоснабжения с развитой сетью разводящих и напорных линий, угольные склады, занимающие на станциях большие территории, эстакады, шлакоуборки.

Электровоз получает энергию для движения по проводам от центральных электростанций, работающих или на черном угле (тепловых) или на белом угле (гидроэлектростанций).

Это исключает необходимость содержания больших экипировочных устройств, уменьшит потребность в обслуживающем персонале.

Электрификация дает до 60 процентов экономии топлива по сравнению с расходом на паровозах. Центральные электростанции могут работать на дешевом топливе — низкосортном угле, угольной пыли, торфе и др., паровоз же требует уголь высокого качества.

Огромное количество топлива теряется при вынужденных стоянках паровозов на станциях. Электровоз не расходует энергию на стоянках, а когда идет с поездом под уклон, то сам вырабатывает ее и посылает в провода.

Мощность электровоза «Владимир Ленин» («ВЛ-22»), которым будет оснащена Омская дорога, позволит увеличить вес поезда до 4500 тонн с одновременным повышением скорости движения почти в полтора раза.

Работа электрифицированных участков показывает, что электровоз может заменить собою два — два с половиной паровоза.

Бригада электровоза состоит из двух человек, вместо трех на паровозе, и работает она в чистой, культурной обстановке.

Большой переворот принесет электрификация дороги и сельскому хозяйству прилегающих к линии районов. На всем протяжении от Чулымской до Макушино колхозы, совхозы и машинно-тракторные станции, расположенные на расстоянии до 60 километров от полотна железной дороги, получат электрическую энергию как для освещения учреждений и квартир, так и для производственных нужд сельского хозяйства.

Электрификация дороги связана с крупными строительными и монтажными работами. Только по строительству контактной сети нужно выполнить 150 тыс. кубометров земляных работ, уложить бетона для опор 117 тыс. кубометров, изготовить 30 тыс. металлических опор, подвесить около 4 тыс. километров контактного провода.

До окончания работ по электрификации, растущие грузопотоки будут обслуживаться на паровой тяге. В связи с этим в первые годы новой пятилетки предусмотрены средства на усиление паровозного хозяйства. Планом 1946 — 1947 годов намечено строительство новых депо, реконструкция существующих, усиление экипировочного хозяйства, водоснабжения и ремонтной базы. Строительство новых и реконструкция существующих сооружений ведутся с расчетом использования их при электротяге без значительных переделок.

Увеличение скорости движения поездов при электротяге потребует усиления путевого хозяйства. Пятилетним планом предусмотрено произвести полную реконструкцию пути на наиболее грузонапряженном участке Чулымская — Омск. На этой линии будут уложены рельсы более тяжелого типа. Мелкий песчаный балласт заменится более устойчивым щебеночным балластом.

Для реконструкции пути необходимо завезти и уложить 1 миллион 300 тыс. кубометров щебня, на перевозку которого потребуется 2500 составов. На участке Омск — Макушино путь будет усилен частичной сменой рельс и капитальным ремонтом.

Большие работы намечены по усилению путевого развития станций и узлов. На Омском узле закончится строительство новой сортировочной станции с двумя механизированными и радиофицированными горками. Это будет фабрика маршрутов. Здесь из вагонов разных направлений будут формироваться маршрутные поезда специальных назначений, которые пойдут за тысячи километров к месту выгрузки без переработки состава. Прибывающий поезд будет передаваться из парка прибытия на горку, откуда вагоны под влиянием собственной тяжести побегут на предназначенные им пути сортировочного парка. Для регулировки скорости движения вагонов, — а это необходимо для того, чтобы вагоны останавливались в определенных местах, — на сортировочных путях будут установлены пневматические вагонозамедлители. Управление стрелками и вагонозамедлителями на механизированных горках сосредоточено в одном месте. Пульт управления оператора механизированной горки заменит работу тридцати — сорока стрелочников и башмачников. Переводя стрелки и приводя в движение вагонозамедлители при помощи электричества, оператор будет передавать по радио свои распоряжения машинистам обслуживающих локомотивов и другим работникам станции.

Пятилетним планом предусмотрено также и усиление линии Омск — Вагай. Этот второй — однопутный — выход из Сибири на Северный Урал и в европейскую часть Союза не дает возможности пропускать весь поток грузов. По плану пятилетки от Омска до Вагая и дальше на Свердловск будут уложены вторые пути с усилением всего хозяйства. Это увеличит пропускную способность линии в два раза.

Значительное место в пятилетнем плане уделено улучшению материально-бытовых и жилищных условий работников Омской дороги. Только на жилищное строительство отпускается на пятилетие 82 миллиона рублей. Будет построено и введено в эксплуатацию свыше 100

тыс. квадратных метров благоустроенной жилой площади, что даст возможность разместить в хороших условиях около 20 тыс. железнодорожников. В счет этого плана в 1948 году в г. Омске начнется строительство многоэтажного 72-квартирного дома для работников Управления дороги и Омского узла.

В течение 1946 — 1950 гг. увеличится сеть амбулаторий, больниц, детских яслей, школ. В Омске, Татарской, Называевской и Исилькуле будут построены новые красивые здания больниц и детских яслей. За пятилетку будут построены на крупных станциях дороги три здания средних школ, три детских сада, учебные корпусы с мастерскими для железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения.

Закончился первый год новой сталинской пятилетки. В этом году Омская дорога построила и реконструировала 21 стойло депо, ввела в эксплуатацию 24 километра новых приемоотправочных и сортировочных путей на узловых станциях, произвела реконструкцию пути на протяжении 28,5 километра с заменой рельс на более тяжелый тип и укладкой на щебень, построены новые тракционные пути и усилено экипировочное хозяйство важнейших депо.

На станции Куломзино построен новый павильон для пригородных пассажиров. Для усиления связи Сибири и Дальнего Востока с центром подвешена новая телефонная линия протяжением 913 километров.

Железнодорожники Омской дороги получили 6975 квадратных метров новой жилой площади. Построено и введено в эксплуатацию 14 восьмиквартирных домов и 11 общежитий.

Грандиозная программа капитальных работ по реконструкции и усилению Омской дороги в 1946 — 1950 гг. потребует напряжения сил всего коллектива железнодорожников и строителей. Каждый железнодорожник, каждый строитель должен найти свое место в новой пятилетке, наметить себе программу действий, взять на себя конкретные обязательства, чтобы пятилетний план на каждом участке был выполнен успешно и раньше срока. Недалек тот день, когда мощные советские электровозы побегут по стальным рельсам Омской магистрали с грузами новой сталинской пятилетки.

Г. ФЕЛЬДМАН

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

Видавший виды «Газик» прыгал по замерзшим кочкам грязи, холодный ветер упорно добирался до самого «нутра», и нам, сидящим в кузове, ничего так не хотелось сейчас, как скорее добраться до деревни, обогреться в теплой избе и отдохнуть.

Наша бригада работников «Сельэлектро» выехала для изысканий и подготовки очередного объекта электрификации. До места назначения — колхоза «Баррикады» — было еще далеко, и мы решили заночевать в Ново-Александровке.

22 километра, отделявшие нас от этой деревни, показались особенно длинными. Мы все время силились и не могли в сгустившейся темноте разглядеть контуры построек деревни, где находился колхоз «Крестьянин».

Но вот дорога пошла в гору и вскоре перед нами открылась панорама освещенного ярким электрическим светом поселка.

— Кажется, сбились с дороги, идем на Исилькуль, — вслух высказал предположение один из наших спутников, попросивший подвезти его в машине до того же колхоза «Баррикады».

— Нет, это не Исилькуль, а наша деревня — колхоз «Крестьянин», а электричество у нас теперь светит, как в городе, — негромко, но с подчеркнутым достоинством сказал до сих пор молчавший второй наш спутник в ладном полушубке и не по-местному в большой бараньей шапке.

Все обернулись к нему:

— И вы из этой деревни?

— Из этой. В Омск как раз по этим электрическим делам и ездил. Мы вот пока только осветили избы. А теперь хотим купить моторы и поставить на электричество молотилку, зерноочистку и корнерезку.

Мы въехали в деревню.

— А вы куда, в контору?

— Да, пожалуй. Впрочем, вы не могли бы нам сказать, у кого изба попросторней, чтобы нам до утра разместиться?

— Да и у меня просторная, поедемте прямо ко мне — отдохнете.

Машина сделала два поворота и остановилась у избы, которая по внешнему виду ничем не отличалась от других, рядом стоящих. Въехав во двор, мы взяли свои небольшие чемоданчики, узелки и вошли в избу. От ровного света электрической лампы, незатейливого, но умело сделанного абажура в избе было по-домашнему хорошо.

Хозяйка понимающе оглядела нас и заторопилась готовить ужин.

Афанасий Петрович — так звали хозяина — что-то шепнул жене и вышел.

В соседней комнате за столиком две девочки лет 12—14 готовили уроки.

— Теперь-то им хорошо уроки готовить по вечерам — светло, — заговорила хозяйка. — А то в короткий зимний день беда. И погулять детям некогда было.

Вошел Афанасий Петрович. Разговор об электричестве его видно живо интересовал.

— Да ведь это еще только начало, — продолжил он. — Одним светом ограничиваться не приходится, нам надо заставить электричество работать в хозяйстве, не все же ему только в городе на заводах быть. Сколько рабочих рук, лошадей может заменить даже наша маленькая 15-киловаттная электростанция! Приспособиться, приме́ниться только надо да моторы достать. И выработка насколько возрастет! Мой брат был в колхозе «Заря», Ачитского района, Свердловской области. Много интересного рассказал. После этого мы решили построить свою электростанцию и построили.

— А что же особенно интересно в «Заре»?

— Очень многое. Станция у них небольшая, генератор всего в 18,3 киловатта. Но дела они делают большие. При такой малой мощности пристроили 23 мотора общей мощностью в 134,4 киловатта и хотят еще установить моторы. Подумали люди хорошо и работу умело распланировали. Зимой, например, днем мельница муку мелет

и мастерские работают. Весной семена сортируют и чистят. Летом моторы пилу гонят, осенью — молотят хлеб. Станция работает и днем и ночью. Днем в мастерских станки работают, корнерезки, соломорезки корма заготовляют. Вечером дома освещаются. Ночью на ферму воду подают. Одних водовозов 10 человек на другие работы послали. Хорошо получается? Верно?

— Верно-то верно, да только это вы все про вспомогательные процессы рассказываете, а ведь электричеством пока не пашут, не сеют и не косят, так что мало еще запрягли электричество.

— Ну, в этом я с вами не согласен. И пашут и сеют. Нам только надо у себя завести такое! — горячо возразил Афанасий Петрович. — Да, погодите, тут хозяйка кое-что сообразила и приглашает к столу.

Мы не заставили себя приглашать вторично и расположились за столом.

Кто-то постучал.

— Наверно, Поля, — догадалась Александра Терентьевна, хозяйка, и пошла открывать дверь. В комнату вошла разрумянившаяся девушка лет 17-18. Несколько смущенная нашим присутствием, поздоровалась и сообщила:

— Какая картина у нас в кино сегодня веселая — «Джордж из Динки джаза», — и песенка смешная, смешная.

Девушка прошла в соседнюю комнату. Мне вспомнились посещенные недавно нашей бригадой деревни, где о кино только мечтали, а передвижка появлялась раз в год. А здесь звуковое кино стало привычным.

Ужин закончился, но разговор затянулся. С увлечением обсуждали мы то, как преображает деревню осуществление ленинской идеи электрификации страны, как глубоко, практически воспринял наш народ сталинский призыв за широкую электрификацию сельского хозяйства, как много у нашего народа инициативы для выполнения грандиозных планов сталинской пятилетки. Пока у нас, в Омской области, электрифицированные колхозы редки, единичны, а к концу первой послевоенной пятилетки их должно быть более 500. Одних только гидроэлектростанций должно быть построено около 150, а тепловых около 400.

Вспомнили мы жаркий июльский день 1946 года и людей на стройке Ложниковской гидростанции, их

вдохновенный, самоотверженный труд, рабочих завода-шефа, приехавших помочь колхозникам строить свою электростанцию.

Перебирая в памяти подробности работ на ряде посещенных нами строек электростанций, мы ощутимо представили себе величественное недалекое будущее наших колхозных деревень.

Пример уже электрифицированных колхозов вдохновлял и нас, строителей, и все колхозное крестьянство на ускорение работ по электрификации, на быстрейшее выполнение пятилетнего плана.

ДЖОН МЭЙСФИЛД[1]

ДОРОГА НА ТЬЮКСБЕРИ

(ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО В. ЭНГЕЛЬГАРДТА)

Хорошо на дорогу пойти и бродить, не зная — где,
Чрез поля и села бродить, не зная — зачем и куда:
На холодном, колючем ветру, подымая пыль
в борозде,
Под раздольем синих небес, где летит облаков
гряда!

И прилечь у края ручья — на зеленой высокой
траве,
Где наперстник алый цветет, колокольчик и дрок
золотой,
И так ярко звезды горят на померкшей небес
синеве,
И оленей стройных стада, озираясь, идут за водой.

О, почуять, как дождь сечет и пахнет родная
земля!
Этой радости слов не найти, и лишь кровь
затанцует джиг!
И веселой зыбью дрожат благодатные наши поля,
Слыша шумные игры ягнят и неистовый птичий
крик.

---

[1] Джон Мэйсфилд род. в 1878 г. С 1930 г.—поэт-лауреат Англии. Характерные темы свежих и сильных стихов Мэйсфилда—радость жизни, силы и труда, простое и реалистичное ощущение красоты мира и человека. (*Прим. переводчика*).

ЗАПАДНЫЙ ВЕТЕР

(ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО Н. П. СКРЫННИКОВОЙ)

Сквозь теплый, сквозь западный ветер щебечут
далекие птицы;
Я только шум ветра услышу — от слез тяжелеют
ресницы...
Из западных стран он примчался, где солнце
стоит над холмами,
Несет он дыханье Апреля, весенними веет цветами.

На Западе, в светлых просторах, усталому
сердцу — отрада;
Там воздух пьянит, запах яблонь неся
из цветущего сада,
Над гнездами в небе порхая, дрозды заливаются
песней,
Трава так свежо зеленеет — найдешь ли где отдых
чудесней?

«Ты разве домой не вернешься, о брат мой,
из чуждого края?
Качаются белые ветви, в апрельском цвету утопая,
А солнце сияет, и тепел приветливый дождик
весною,

Ты разве домой не вернешься, не встретимся, брат
мой, с тобою?

Брат! Кроликов спинки мелькают среди
недозревшего хлеба,
Дождь тепел, и облачко тает в лазури весеннего
неба,

Пчел диких гуденье послушай, взгляни на весну,
как бывало,
Все это бы песнею счастья в душе у тебя зазвучало.

Не правда ль, вернешься ты, брат мой, к зеленому
полю пшеницы,
К земле ты прильнешь, изнемогший, и песню
споют тебе птицы.

Я вылечу сердце больное, усталые веки закрою...»
То теплый, то западный ветер мне ласково шепчет
порою.

Влечет меня с прежнею силой знакомою белой
тропою,
Пойду я к траве изумрудной — и снова воспряну
душою,
К поющим дроздам, где фиалки на склонах
холмов расцветают,
Пойду я на Родину нашу, к родному,
любимому краю!

Проф. М. С. РАБИНОВИЧ

ЧЕХОВ И МЕДИЦИНА

43 года тому назад, сраженный палочкой Коха, ушел из жизни один из любимейших русских писателей — врач Антон Павлович Чехов.

Гениальный писатель, непревзойденный мастер новеллы, он два с лишним десятилетия в своих многочисленных произведениях выражал умонастроение большой общественной группы разночинной интеллигенции, начиная от «восьмидесятников», с их пессимизмом и уклоном в толстовство, и до периода общественного подъема страны в девяностых и девятисотых годах, закончившегося первой русской революцией, до которой писатель не дожил всего один год.

Чехов умер от туберкулеза.

Мы располагаем довольно скудными данными по истории болезни Чехова, но то, что известно — представляет значительный интерес.

Наследственность у А. П. Чехова была совершенно благополучна. Дед, отец и мать писателя были свободны от болезни туберкулезом. В детстве и юности, в таганрогский период его жизни, никаких подозрительных по туберкулезу заболеваний у Чехова не было.

Условия жизни Антона Павловича в студенческие годы, в период 1879 — 1884 гг. были мало благоприятны. Жизнь в полуподвальном сыром помещении в Москве на Драчевке[1] и теснота могли играть некоторую предрасполагающую роль в его недуге. Известное влияние должно было оказать хроническое переутомление, вызванное интенсивными учебными занятиями по медицине и напряженной литературно-газетной и журнальной работой, которая в то время уже сделалась источником существования для студента-медика Чехова, содержавшего всю семью.

Нельзя также исключить и возможности заражения писателя от своего родного брата Николая, который в студенческие годы Антона Павловича уже страдал туберкулезом легких, от чего умер в 1888 г.

Впервые вопрос о специфическом процессе в легких Антона Павловича возник в 1884 г., когда у него случилось первое кровохарканье в зале Московского Окружного Суда, где он присутствовал в качестве репортера петербургской газеты на процессе о крахе Скопинского Банка. В своем письме к Суворину от 14

[1] Теперешняя Трубная площадь.

октября 1888 г. он, по утверждению Юрия Соболева, впервые через 3 года после первого кровохаркания, говорит о своей болезни.

«...Каждую зиму, осень и весну, и в каждый сырой летний день я кашляю. Но все это пугает меня только тогда, когда я вижу кровь: в крови, текущей изо рта, есть что-то зловещее, как в зареве...»

Вспоминая о первом кровохаркании, он говорит: «Продолжалось оно дня 3 — 4 и произвело немалый переполох в моей душе и в моей квартире. Оно было обильно. Кровь текла из правого легкого».

Несмотря на то, что кровохарканье имело место и повторялось по одному — два раза в год, Чехов долго не верил тому, что у него туберкулезный процесс. Анализируя свое состояние, он искал совокупность признаков, которые были бы характерны для этой болезни и не находил их у себя.

«Если бы то кровотечение, какое у меня случилось в Окружном Суде, было симптомом начинающейся чахотки, то я давно уже был бы на том свете — вот моя логика» — пишет он в том же письме Суворину.

Нам кажется, что он недостаточно критически относился к «инфлюэнцам», которые протекали у него тяжело, и за врачебной помощью по этому поводу никогда не обращался. Правда, в письме к А. П. Ленскому от 8/XII 1889 г. он пишет: «Моя инфлюэнца продолжается, так что я начинаю подозревать, что у меня не инфлюэнца, а другое какое-нибудь свинство».

Будучи уже легочным больным, Чехов в 1890 г. предпринял тяжелую поездку на далекий Сахалин, которая потребовала значительной затраты физических сил, так как путь в десяток тысяч километров был очень долог и полон лишений.

Моральные побуждения, толкнувшие его на эту поездку, формулированы в письме к Суворину от 9/III 1890 г.

«Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников и все это сваливали на тюремных, красноносых смотрителей. Теперь вся образованная Европа знает, что виноваты не смотрители, а все мы...»

Ближайшие 7 лет после возвращения из поездки на Сахалин были заполнены у Чехова интенсивными занятиями практической медициной, литературным трудом, большой общественной работой (борьба с холерой, помощь голодающим) и сопровождались эмоциями положительного и отрицательного порядка. В этот период он был избран гласным земской управы, весьма популярен как врач-лечебник и врач-общественник и много сделал по народному образованию, занимался строительством школ и дорог и в то же время перенес тяжелое потрясение в связи с провалом в Петербурге на сцене Александринского театра написанной им «Чайки».

Все это не могло не отразиться на подорванном болезнью организме.

Продолжительных приступов болезни в эти годы, повидимому, не было. По ночам у него бывали нервные припадки, перебои и боли в области сердца и приступы мучительного кашля.

24/III 1897 г. в Москве, в ресторане «Эрмитаж», куда Чехов приехал пообедать вместе с Сувориным, у него за столом откры-

лось угрожающее легочное кровотечение, потребовавшее немедленной госпитализации. Он был помещен в терапевтическую клинику профессора Остроумова, где распознали верхушечный процесс в легких. В письме к Л. В. Средину от 2/V 1897 г. он пишет по этому поводу: «Здесь эскулапы вывели меня из блаженного неведения: нашли у меня в обеих верхушках хрипы, рыдох и притупление в одной правой, лежал я в клинике 15 дней, кровь шла около 10 дней»...

Выписался он в удовлетворительном состоянии. В период пребывания в клинике Антон Павлович не был достаточно дисциплинированным. Ему было запрещено двигаться и разговаривать, однако, когда его пришел навестить Л. Н. Толстой, то он проговорил с ним два часа, чем вызвал повторное обильное кровотечение.

В письме к Суворину от 1/IV 1897 г. он пишет: «После того вечера, когда был Толстой (мы долго разговаривали) в 4 часа утра у меня опять шибко пошла кровь»...

1-го сентября он уехал за границу и провел зиму в Биарице и Ницце, откуда возвратился в первых числах мая 1898 г. Несмотря на покой и хорошее питание, он в весе не прибыл.

С 1897 г., после первого массивного легочного кровотечения, Антон Павлович перестал заниматься медициной, как профессией. Ондако, в письме к архимандриту Сергию от 27/V 1898 г. он пишет о себе: «был болен, даже лежал в клиниках, во мне нашли бацилл и проч. и проч., теперь же все обстоит благополучно, я чувствую себя очень сносно, по крайней мере не считаюсь больным и живу, как жил. Занимаюсь попрежнему медициной и литературой; лечу мужиков, пишу повести, каждый год строго что-нибудь»...

С начала 1899 г. он начинает обосновываться в Ялте и тогда же появляются первые признаки диссеминации туберкулезного процесса в кишечнике.

1900 г. прошел у писателя в разъездах, несмотря на донимавшую его болезнь. Осень этого года он провел в Москве, зиму — в Италии и в начале 1901 г. возвратился в Ялту.

В середине мая 1901 г. Чехов был осмотрен доктором Щуровским, который констатировал у него активный легочный процесс и рекомендовал лечение в Швейцарии или кумысолечение в России. В письме к А. Ф. Кони от 12/VI 1901 г. Антон Павлович пишет: ...«В Москве д-р Щуровский нашел у меня значительные ухудшения: прежде у меня было притупление только в верхушках легких, теперь же оно спереди ниже ключицы, а сзади захватывает верхнюю половину почки».

После этой консультации он в конце мая женился на артистке Художественного театра О. Л. Книппер и с ней вместе уехал в Андреевский санаторий при ст. Аксеново, Уфимской губернии. Пробыли они там месяц и возвратились в Ялту 9 сентября.

Лечение кумысом было эффективно, но эффект был очень кратковременный. В декабре 1901 г. появился правосторонний плеврит с температурой. В письмах к жене О. Л. Книппер от 17/XII и 18/XII он пишет: ...«здоровье мое становится лучше и лучше; ношу компресс на правом боку, принимаю креозот, но То нормальная и все обстоит благополучно»... и ...«кровохаркатья нет, сил больше, кашля почти нет, только одна беда — громадный компресс на правом боку»...

В августе 1902 г. опять поднялась температура и почти месяц Чехов провел в постели.

Весна 1903 г. прошла для писателя благополучно. Летом он показался прославленному клиницисту проф. Остроумову.

17 января 1901 г. в день рождения Чехова происходило его чествование в Московском Художественном театре по поводу 25-летия литературной деятельности. Шла премьера «Вишневый сад». Его физическое состояние в это время было таково, что ему трудно было стоять.

В мае 1901 г. Антон Павлович слег окончательно, особенно страдая от туберкулеза кишечника и плеврита. 3 июня 1904 г. жена повезла больного в Германию в Шварцвальд на курорт Баденвейлер.

В течение короткого периода пребывания на этом курорте он не сознавал своего тяжелого положения. Как и в каждом больном, в нем жила уверенность, что он должен поправиться.

Незначительное улучшение в первые дни пребывания в Баденвейлере он интерпретировал как грядущее выздоровление и в письме своей сестре от 12/VI 1904 г. пишет: «Здоровье входит в меня не золотниками, а пудами».

2 июля 1904 г. его не стало.

* * *

43 года тому назад, на заре первой русской революции, Россия потеряла одного из лучших своих сынов, замечательного врача-общественника и еще более замечательного русского писателя, которому Л. Н. Толстой дал определение: «Чехов — это Пушкин в прозе».

В настоящем очерке мы не собираемся дать характеристику литературного творчества Чехова; мы ставим себе задачей очертить врачебный профиль и дать характеристику врачебного творчества писателя и врача, заслуживающую особого внимания, потому что биографы и друзья писателя всегда ревновали его к медицине. Они настойчиво рекомендовали ему бросить практическую медицину. В литературе все еще имеет распространение то положение, что Антон Павлович медицину не любил и тяготился своей профессией. К этому вопросу мы еще вернемся.

А. П. Чехов по окончании Таганрогской гимназии в 1879 г. поступил на медицинский факультет Московского Университета. Выбор факультета носил случайный характер, так как Чехов никакого особого влечения к медицине не имел.

В 1884 г. он удостоен звания лекаря и уездного врача «за оказанные удовлетворительные успехи при очень хорошем поведении».

Еще в студенческие годы, по свидетельству самого Антона Павловича (письмо Г. И. Россолимо 11/X 1899 г.), он начал заниматься практической медициной, работая в Воскресенской земской больнице у известного врача П. А. Архангельского.

По окончании Университета он летом работает в д. Бабкино, недалеко от г. Воскресенска.

Вспоминая об этом периоде своей деятельности, он сообщает о своих первых шагах на этом поприще: «Лечил одной барышне зуб, не вылечил и получил 1 рубль; лечил монаха от дизентерии, вылечил и получил 1 рубль; лечил одну актрису от катарра

желудка и получил 3 рубля. Такой успех на новом поприще привел меня в такой восторг, что все оные рубли я собрал воедино и отослал их в трактир Банникова, откуда получаю для своего стола водку, пиво и прочие медикаменты».

После первого лета работы на периферии Чехов возвратился в Москву, повесил на дверях квартиры вывеску «Доктор А. П. Чехов» и стал заниматься частной практикой.

Уже с первых шагов дело пошло неплохо, что видно из письма его к своему дяде, которому он сообщает, что на заработанные деньги приобрел мебель и пианино, живет без долгов и, если будет жив и здоров, то положение семьи будет обеспечено, а друзьям своим он говорил: «Живу с апломбом, т. к. ощущаю в своем кармане лекарственный паспорт».

В ближайшие после окончания Университета годы медицинская деятельность Чехова протекает в Москве и на периферии Московской губернии.

В 1888 г. Чехов пишет писателю Короленко о предстоящей поездке на лето в деревню: «Везу с собой медикаменты и мечтаю о гнойниках, отеках, фонарях, поносах, соринках в глазу и прочей благодати. Летом я обыкновенно полдня принимаю рассеянных, а моя сестрица ассистирует мне; эта работа веселая». (Письмо 2/V 1888 г.).

С 1888 г. Чехов мечтает приобрести хутор. При этом учитывается и возможность заниматься там медициной.

«Куплю хутор и стану подписываться: Полтавский помещик врач и литератор Антуан Шпонька».

...«Хутор стоит между двумя громадными селами, где нет ни одного врача, так что он может быть прекрасным медицинским пунктом»...

...«Мечтаю о том, как в марте переберусь из Москвы на хутор...»

...«А на хуторе медицина во всю ивановскую»... пишет он Суворину 30/XI 1891 г.

В письме от 2/III 1892 г. он пишет тому же Суворину: ...«Я купил целый воз лекарств. Хочу купить микроскоп и займусь медицинской микроскопией. Вообще займусь медициной самым основательным образом»...

В 1892 г. Чехов купил имение Мелихово в Серпуховском уезде, Московской губ., и создал в нем образцовый врачебный участок.

Здесь на протяжении ближайших 3-х лет Антон Павлович не только широко развернул практическую деятельность, но и в организации здравоохранения показал себя энтузиастом и деятельным работником.

В это время на Московскую губ. надвигалась эпидемия холеры. Нужны были крутые профилактические мероприятия. Чехов добровольно и к тому же безвозмездно (писал Суворину 1/VIII 1892 г.) принимает на себя обязанности эпидемического врача, несмотря на то, что он еще не был достаточно свободен от заботы о деньгах. Мы в этом убеждаемся по письму к Суворину, датированному 16/VI 1892 г.

...«Душа моя просится вширь и ввысь, но на деле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Нет ничего пошлее мещанской жизни с ее грошами, хлопотами, нелепыми разговорами и никому не нужной условной добродетелью. Душа моя

изныла от сознания, что я работаю ради денег и что деньги центр моей деятельности»...

В орбиту противоэпидемической деятельности Чехова по Серпуховскому уезду вошло 25 деревень, 4 фабрики и монастырь. Этот период работы в письме к Суворину от 16/VIII 1892 г. он характеризует следующим образом:

...«Земство не дало мне на организацию пунктов ни копейки, клянчу у богатых людей то того, то другого; оказался я превосходным нищим, благодаря моему нищенскому красноречию мой участок имеет теперь 2 превосходных барака со всей обстановкой, и бараков этих пять не превосходных, а скверных. Я избавил Земство даже от расходов по дезинфекции. Известь, купорос и всякую пахучую дрянь я выпросил у фабрикантов на все свои 25 деревень».

В изыскании средств Чехов иногда натыкался и на тяжелые случаи отказа.

«В Бнарице живет теперь мой сосед-граф — владелец знаменитой Отрады..., бежавший от холеры; он выдал своему доктору на борьбу с холерой только 500 рублей. Его сестра графиня, живущая в моем участке, когда я приехал к ней, чтобы поговорить о бараке для ея рабочих, держала себя со мной, как будто я пришел к ней наниматься. Мне стало больно и я солгал ей, что я богатый человек... То же самое солгал я и архимандриту, который отказался дать помещение для больных, которые вероятно случатся в монастыре» (То же письмо от 16/VIII).

Работа Чехова по своему врачебному участку, лечебная и профилактическая, была в эти годы крайне напряженной. В одном из своих писем он сообщает: «В разъездах я с утра и до вечера и уже утомился, хотя холеры еще не было. Вчера вечером мок на проливном дожде, не ночевал дома и шел утром домой пешком по грязи».

Измученный напряженной медицинской, литературной и общественной работой, Чехов в другом письме от 16/VIII 1892 г. сообщает: ...«Душа моя утомлена. Скучно. Не принадлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить на отвратительных лошадях по неведомым дорогам...»

Тут сказалось утомление писателя, врача-общественника. Однако в письме от 19/X 1891 г. он пишет: «Если я врач, мне нужны больные и больница...» В письме Тихонову от 10/X 1893 г. он пишет: «... Летом не писал, так как мешала холера. Я опять был холерным доктором и нахожу, что это гораздо приятнее, чем быть катарральным писателем».

И собравшись стать временным «холерным доктором», он готовится к этому не только практически, но и теоретически, изучая хронологию, географию и историю распространения этой болезни с момента проникновения ее в Россию и до последнего приближения ее к границам Московской губернии.

Собравшись в свою известную поездку на остров Сахалин в 1890 г., он принимается за чтение медицинских учебников по санитарно-гигиеническим вопросам, ставя перед собой определенные медицинские задачи при изучении быта каторжного острова.

Во время путешествия за границу, Чехов посещал Венские клиники, интересовался открытиями Коха. Он внимательно следил за медицинской периодической литературой.

В письме к А. С. Суворину от 11/I 1897 г. он пишет: «...Найдено средство от рака. Вот уже почти год, как с легкой руки рус-

ского врача Денисенко, пробуют сок чистотела, или бородавника (chelidonium) и приходится теперь читать о поразительных результатах. Рак болезнь тяжкая, невыносимая, смерть от него — страдальческая; можете же судить, как человеку, посвященному в тайны эскулапии, приятно читать об этих результатах...»

Чехов активно помогал журналу «Хирургическая летопись». В письме к Суворину от 21/X 1895 г. он пишет: ...«А я в ужасе — и вот по какому поводу. В Москве издается «Хирургическая летопись», великолепный журнал, имеющий успех даже за границей. Редактируют известные хирурги — ученые: Склифасовский и Дьяконов. Число подписчиков с каждым годом растет, но все еще к концу года — убыток. Покрываем сей убыток был все время Склифасовским... судя по аналогии с прошлыми годами надо ожидать 1000 — 1500 руб. убытка... чтобы спасти журнал, я готов идти к кому угодно и стоять в чьей угодно передней, и если мне удастся, то я вздохну с облегчением и с чувством удовольствия, ибо спасти хороший хирургический журнал так же полезно, как сделать 20 000 удачных операций...» Когда в 1897 г. из состава редакции выбыл профессор Склифасовский, а другой соредактор проф. Дьяконов, оставшись в единственном числе, не справился с финансовыми затруднениями, Чехов пришел к нему на помощь и где-то выплопотал денежную субсидию. Журнал в это время получил новое название «Хирургия», и Чехов в одном из своих писем к Суворину из Ниццы пишет в декабре 1897 г.: «Опять дышит на ладан журнал «Хирургия» и опять я должен спасать его во что бы то ни стало... Журнал в научном отношении превосходный, совсем европейский. Посоветуйте: как выхлопотать субсидию в 3 — 4 тысячи рублей в год? Если бы для этого понадобилось назваться издателем, то я назвался бы и потом неделю простоял бы перед домом Витте босиком, с непокрытой головой и со свечой в руке...» Ему же в письме от 16/XII 1897 г.: «Хирургия спасена! Деньги найдены... Я очень рад и пою Богу хвалу...»

Каков же был врачебный профиль Чехова?

Он был идеальным участковым земским врачом, прекрасно сочетая в своем лице врача-лечебника и врача-профилактика — организатора здравоохранения. Однако, по своему медицинскому мировоззрению, он был ближе к медицине профилактической. Он был убежден, что нужно не столько лечить болезни и отдельных больных, сколько стремиться к такому коренному переустройству жизни, когда самое возникновение болезни стало бы невозможным. Размышления доктора Королева на территории фабрики в рассказе «Случай из практики» — это мысли самого Чехова.

«Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений. Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже не ясна и не устранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней» ...«Тут недоразумение, конечно, думал он, глядя на багровые окна. Тысячи полторы — две фабричных ра-

богатеет без отдыха, в невозможной обстановке, дышит плохой ситец, живут впроголодь и только изредка, в кабаке, отрезвляются от этого кошмара; сотня людей надрывает за работой и вся жизнь этой сотни уходит на записывание штрафов, на брань, несправедливости и только двое — трое, так называемые хозяева, пользуются выгодами, хотя совсем не работают и презирают плохой ситец...»

В этом отрывке устами доктора Королева Чехов дал социальный анализ условиям жизни фабричных рабочих, считая, что предлагаемые улучшения равносильны лечению неизлечимых болезней. Только коренное переустройство жизни, с оздоровлением труда и быта, вот путь к борьбе с болезнями и высокой смертностью.

Так думал Чехов, но этот вывод он не навязывает читателю; вывод вытекает сам собой, когда знакомишься с этим прекрасным рассказом.

Чехов считал, что надо готовить образованных и гуманных врачей, строить хорошие больницы, не похожие на тюрьмы; лечение строго индивидуализировать. Сам он предпочитал в лечебной работе физио-терапевтические методы и лечение силами природы.

Врач в представлении Чехова — это друг и советчик больного, умеющий с ним разговаривать простым и понятным языком, а не жрец медицинской науки, с ученым видом изрекающий глупости.

Антон Павлович был поборником широкого санитарного просвещения.

«Мне кажется пора земским врачам перестать презирать общую печать и относиться к ней, как к чему-то постороннему, стоящему далеко вне; пора уже им и прежде всего санитарным врачам занять в журналистике ту область, которая принадлежит им по праву компетенции и от которой они уклоняются просто из гордости». Это отрывок из его письма Шаховскому от 15/III 1894 г.

Вот таков врачебный облик и профиль А. П. Чехова.

Теперь мы подходим к одному из самых интересных вопросов: любил ли Чехов медицину?

В литературе еще живет мнение о том, что Антон Павлович не любил медицину и тяготился ею.

Так, писатель И. Н. Потапенко в двух номерах журнала «Нива» за 1914 г. поместил свою работу под заглавием «Несколько лет с А. П. Чеховым» (к 10-летию со дня кончины), где вторая часть работы начинается вопросом, как относился Чехов к своему врачебному званию?

«Должен сказать, что я (Потапенко) почти никогда не вспоминал о том, что он (Чехов) врач: ничем он не давал повода вспомнить об этом, никогда не вел он разговора о медицине и медицинском. Конечно особенно распространяться об этом перед неспециалистом и невеждой не было и смысла, но ведь это прорывается. Когда у человека есть влечение и любовь к какому-нибудь делу, то они будут сквозить во всем. У него же это не было заметно.

...Когда в Мелихове приходили к нему мужики и бабы с нарывами и глубокими порезами и ему об этом сообщали, он кривился — должно быть опять-таки от сознания, что может сделать не так как следует, но не отказывал, принимал, с величайшим вниманием осматривал, резал, очищал и перевязывал. Я думаю, что если бы за операцией пришел к нему помещик, он послал бы его к специалистам. Но для мужика специалист недостижим и все равно лучше ему никто не сделает....»

Эриче в биографическом очерке Чехова пишет, что медицинская практика его всегда заметно тяготила.

Юрий Соболев в своей книге «Чехов», напечатанной в 1934 г., на стр. 49 пишет: «Медицинская практика Чехова занимает не слишком большое место в его биографии. Он не считал себя врачом-профессионалом и не скрывал того раздражения, а часто отвращения, которое испытывал от будничной докторской работы. Не практика, а теория интересовала его, и нас занимает не вольно-практикующий врач Чехов, а тот Чехов-писатель, который научился мыслить научно».

В окончательное подтверждение этого мнения приведем последнюю категорическую цитату, заимствованную у Потапенко: «Кажется ясно и не может быть подвергнуто сомнению, что искреннего влечения к врачебной деятельности А. П. не питал. Заблуждения же наблюдателей объясняются тем, что за влечение они принимали исключительно развитое в нем чувство долга, которое заставляло его с улыбкой на губах делать то, что было ему не приятно и даже противно».

К разрешению поставленного вопроса попробуем подойти с нашей врачебной точки зрения.

Первый сборник своих рассказов «Сказки Мельпомены» Чехов издал на свои средства в 1884 г.

Второй его сборник «Пестрые рассказы» издал Суворин в 1886 г. И в 1887 г. вышел в свет третий сборник «В сумерках», который был удостоен Академией Наук половины «Пушкинской премии». Через год после этого у Чехова появляются мечты о приобретении небольшого имения. Мечты эти строились на некоторой материальной базе, в основе которой лежали уже и литературные заработки. И когда эта мечта осуществляется в 1892 г. покупкой имения «Мелихово», Антон Павлович начинает настолько интенсивно заниматься медициной, что вызывает недовольство издателей, рекомендующих ему не слишком увлекаться этой профессией. Вспомним тут письмо к Суворину от 19/X 1891 г., где он говорит: «Если я врач — мне нужны больные и больницы»...

Совершенно очевидно, что сам Чехов считал себя врачом.

Упреки редактора юмористического журнала «Осколки» писателя Лейкина он парирует следующим образом: «Больше того, что теперь пишу, мне писать нельзя, ибо медицина не адвокатура. не будешь работать — застынешь». А издателю газеты «Новое Время» Суворину он пишет: «Срочность для меня неудобна уже и потому, что я врач и занимаюсь медициной. Не могу я сказать, что завтра меня не оторвут на целый день от стола...». И когда Суворин рекомендует Чехову бросить медицинскую практику, он отвечает в письме от 11/IX 1888 г.: «Я чувствую себя бодрее и довольнее собой, когда сознаю, что у меня два дела, а не одно... Медицина — моя законная жена, а литература любовница. Когда надоедает одна, я ночую у другой. Это хотя и беспорядочно, но зато не так скучно, да и к тому же от моего вероломства обе решительно ничего не теряют. Не будь у меня медицины, то я свой досуг и свои лишние мысли едва ли отдавал бы литературе...»

Особенно сильным аргументом, подтверждающим равнодушие Чехова к медицине, писатели считают его высказывания в письме к Суворину от 16/VIII 1892 г., где он пишет: «Скучно. Не при-

надлежать себе, думать только о поносах, вздрагивать по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?)... ...читать только про холеру и ждать только холеры и в то же время быть совершенно равнодушным к сей болезни и к тем людям, которым служишь...»

Такая интерпретация письма нам кажется неверной. Нельзя рассматривать неприязнь к холере и борьбе с ней, как неприязнь к медицине вообще. Ведь это письмо написано в 1892 г., когда Чехов с особым энтузиазмом организовывал свой врачебный участок, ставший в короткое время образцовым. То обстоятельство, что ему не нравился ненормированный рабочий день с возможностью круглосуточных вызовов, отнюдь не определяет отношения Чехова к своей профессии врача, так как любому из нас не доставляет никакого удовольствия перспектива ночного вызова к больному после тяжелого рабочего дня. Эти же мысли, что и в цитированном письме Суворину выражены в пьесе «Дядя Ваня» устами доктора Астрова.

Несомненно, что более совершенная организация врачебного труда с системой дежурств по неотложной медицинской помощи лишила бы возможности литературоведов и биографов Чехова пользоваться этим письмом в качестве документального доказательства его равнодушия к медицине, как своей профессии. Если строить свои умозаключения на высказываниях, в основе которых лежит случайное настроение или временное переутомление, то с таким же правом на основании письма к Авиловой от июля 1894 г. можно утверждать, что он тяготился литературной деятельностью. В нем он жалуется: ...«Мне опротивело писать, и я не знаю, что делать. Я охотно бы занялся медициной, взял бы какое-нибудь место, но уже нехватает физической гибкости (здоровья?)». Или в письме Е. М. Линтваревой от 17/IV 1889 г. он пишет: ...«Чувствую медицинский зуд. Опротивела литература...»

Наконец, нельзя забыть и того, что, оставив в 1897 г. по болезни регулярные занятия врачебной практикой, Чехов даже и в ялтинский период своей жизни не был свободен от обращавшихся к нему за помощью больных.

Все это дает нам основание утверждать, что Чехов был образованным, любящим медицину врачом, ярким представителем участковой земской медицины в лучшем смысле этого слова, с более резко выраженными склонностями в сторону занятия профилактической медициной.

Чехов — гениальный писатель затмил все же Чехова — врача, но зато медицинские науки наложили глубокий отпечаток на всю его литературную деятельность. В автобиографии, написанной 11/X 1899 года по просьбе своего сокурсника, а впоследствии друга проф. Г. И. Россолимо, он характеризует эту связь следующим образом:

«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно развинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня, как для писателя, может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние и вероятно благодаря близости к медицине мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, научным методом всегда держало меня настороже и я старался,

где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно — предпочитал не писать вовсе».

Чехов широко использовал полученное им медицинское образование в своем литературном творчестве. Он писал по истории медицины. Рукопись этой работы хранится в Центроархиве.

Его работа «Сахалин» рассматривалась как труд по социальной медицине, который мог бы быть представлен в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора медицины.

В таком именно духе пробовал вести переговоры проф. Россолимо с деканом медицинского факультета Московского Университета, но сочувствия он у него не встретил.

Чехов послужил медицине своим ярким литературным дарованием. Его величайшая заслуга перед медициной заключается в художественном отображении состояния медицинского дела своего времени, в даче целого ряда типовых зарисовок врачей, особенно земских, в показе среднего медицинского персонала в быту и на работе и в даче ряда беллетристически выполненных прекрасных описаний болезней.

Фриче сказал, что Чехов ввел врача в русскую литературу. Среди рассказов, повестей и пьес, в которых фигурирует медицина или медицинские работники, нужно назвать: «Палата № 6», «Горе», «Случай из практики», «Ионыч», «Враги», «Зеркало», «Попрыгунья», «Тиф», «Именины», «Черный монах», «Припадок», «Скорая помощь», «Хирургия», «Воры», «Сельские эскулапы», «Ах, зубы!», «Скрипка Ротшильда», «В аптеке», «Индейский петух», «Аптекарша», «Ночь перед судом», «Симуляция», «Подлежащие меры», «Знакомый мужчина», «Необыкновенный», «Темнота», «Страдальцы», «Неосторожность», «Беглец», «Мертвое тело», «Следователь», «Мужики», «Тоска», «Степь», «Неприятность», «Скучная история», «Гусев», «Учитель», «Цветы запоздалые», «Сельские картинки», «Два романа», «Роман доктора», «Елка», «Наивный леший», «Благодетели», «Общее образование», «Скука жизни», «Наброски», «Волк», «В Париж!», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Иванов».

Неприглядное описание больницы с ее грязью, запустением и воровством он дает в рассказе «Палата № 6».

«Когда Андрей Ефимыч (доктор Рагин) приехал в город, чтобы принять должность, «богоугодное заведение» находилось в ужасном состоянии. В палатах, коридорах и больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. Жаловались, что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра, в ваннах держали картофель. Смотритель, кастелянша и фельдшер грабили больных, а про старого доктора; предшественника Андрея Ефимыча, рассказывали, будто он занимался тайной продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно. Одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, т. к. дома живут гораздо хуже, чем в больнице. Не рябчиками же их кормить!»..

Описывая материально-правовое положение врачей, Чехов в ряде своих вещей показывает тяжелые условия труда и быта земских врачей, вечно занятых, никогда не принадлежащих себе, кого-

рых в любое время, не взирая на их физическое состояние, можно заставить отправиться к больному за 30 — 40 верст.

Так это показано с исключительной остротой в рассказе «Враг», где доктора Кириллова увозят к умирающей помещице буквально через минуты после смерти единственного сына 6-летнего мальчика Андрея. Или в рассказе «Зеркало», где в фантастической форме, в виде сна, приснившегося генеральской дочери Нелли, показана тяжелая болезнь воображаемого мужа и насильственно влекомый к нему врач Степан Лукич, сам уже больной тифом.

«Целый день в больнице, то в разъездах» — восклицает врач Соболь в рассказе «Жена» — «не только что к любимой женщине съездить, но даже книжку прочесть некогда. Я мужлан, одичал в глуши, огрубел. Что же касается до материальной стороны, то табаку купить иной раз не на что».

В галерее выведенных врачей мы встречаем честных, хороших, иногда талантливых, но мало приспособленных к жизни и совершенно безвольных людей, как врач Рагин в рассказе «Палата № 6», прозектор Петр Игнатьевич в повести «Скучная история», доктор Дымов в рассказе «Попрыгунья», добрая, чистая, любящая душа,— не человек, а стекло. Служил науке и умер от науки (заразился от больного дифтеритом), так его характеризует доктор Коростелев.

Показаны у Чехова и врачи, утерявшие идеалы и ушедшие в сколачивание рублей, как доктор Старцев в рассказе «Ионыч», рассказ «Знакомый мужчина».

Средний медицинский персонал изображает Чехов в довольно непривлекательном виде. В своих юмористических рассказах он показывает их невежество (фельдшер Курятин в известном рассказе «Хирургия»), грубость (фельдшер Максим Николаевич в рассказе «Скрипка Ротшильда»), алчность (фельдшер Ергушов в рассказе «Воры»).

Прекрасны с художественной стороны, и вместе с тем медицински точны описания начинающегося родового процесса в рассказе «Именины», картина тифа в рассказе «Тиф», психическое заболевание в рассказе «Черный монах», нервная болезнь в рассказе «Припадок».

Не оставил Антон Павлович без внимания и фармацию—«родную сестру медицины». Останавливаясь на некоторых отрицательных чертах аптекарей, он в художественной форме показал проявляющиеся иногда высокомерие, обидчивость, узость их званий и ограниченность их кругозора (рассказы «В аптеке», «Индейский петух»).

Объем работы не позволяет дальше детализировать вопрос. Мы показали, как умели, врача А. П. Чехова в его служении медицине.

Нам хотелось бы, чтобы доктор Чехов был воспринят как образ человека высокой культуры, близкий нам по духу, [illegible] гражданина-патриота, врача-общественника, которым гордится русский народ.

С. ЖДАНОВ

25 ЛЕТ СОВЕТСКОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ В ОМСКЕ

В первые годы Советской власти в Омске было издано немало литературы. Различные организации выпускали плакаты, брошюры, книги, обращения, воззвания. Изданием подобного рода литературы занимались и отделы Сибревкома, и общественные организации, и промышленно-художественный институт, и промысловo-кустарные артели. Среди этого потока книг находились хорошие, плохие и явно вредные издания.

В 1920 году в газете «Советская Сибирь», которая тогда издавалась в Омске, было опубликовано решение Сибревкома. В нем говорилось:

«Для централизации издательства организовать в Омске Сибирское отделение Государственного издательства.

Предоставить местным организациям право издавать лишь листовки и воззвания.

Воспретить местным организациям издавать без разрешения Сибирского отделения Государственного издательства брошюры и книги.

Управление и заведывание отделением Государственного издательства возложить на коллегию из трех лиц. Для разрешения вопроса о распределении бумаги на заседания приглашаются: представитель полиграфического отдела с правом решающего голоса и представитель Центропечати с правом совещательного голоса».

Таким образом, контроль и издание книг в Омске перешли в руки вновь созданного государственного органа. С тех пор прошло двадцать пять лет. Сибирское отделение впоследствии стало называться Омским Областным Государственным издательством.

Мы в настоящей статье остановимся, главным образом, на одной стороне деятельности издательства, а именно на его роли в объединении писательских сил города и области и на издании художественной литературы.

После двухлетнего существования издательства центр Сибири переместился из Омска в Новосибирск. Там создавались различные писательские группы и группировки, затем возник Сибирский Союз Писателей, превратившийся позднее в Сибирское отделение Союза Советских Писателей. В Омске этого не было

Литературные силы организовывались вокруг издательства или в форме литературных групп при издательстве, или в форме литературных объединений. Поэтому двадцать пять лет существования Омского издательства являются в то же время двадцатипятилетием существования советской литературы в Омске.

На кого опиралась в Омске молодая Советская власть в области литературы? Необходимо заглянуть в прошлое. До революции в Омске имелись прогрессивные литераторы: Феоктист Березовский, Антон Сорокин, Александр Оленич-Гненко, Конратий Урманов (К. Туликов). Это — люди 1905—1917 годов, они стояли в литературе за демократические принципы. В период колчаковщины Оленич и Березовский ушли в подполье, Сорокин боролся, как мог, с колчаковским режимом, часто вынужден был скрываться. А в это время выступают на политической арене эмигрант, беглец от Советской власти мистик Игорь Славин, поэты Г. Маслов, Ю. Сопов и занимают антиреволюционные позиции, поддерживают кровавого адмирала Колчака.

После разгрома Колчака вышли из подполья прогрессивные писатели, а вместе с Красной Армией появились новые люди — Иван Ерошин, Всеволод Иванов. Вот те литераторы, которые начали создавать молодую Советскую литературу в Омске.

С первых дней существования издательство развернуло широкую деятельность. При нем была создана литературно-художественная секция, опубликовавшая 20 апреля 1920 года обращение к писателям и художникам. Обращение не лишено интереса, поэтому приводим его в выдержках:

«При Сибирском отделении Государственного издательства организована литературно-художественная секция, которая ставит себе задачей выявлять литературно-художественные таланты, скрытые в рабочей и крестьянской массе, и привлечь к творчеству старых писателей, ставших на сторону рабоче-крестьянской революции.

Сейчас в первую очередь рабочему, крестьянину и красноармейцу нужны новые пьесы для деревенских театров, рабочих и красноармейских клубов...

...Кроме пьес, Государственное издательство намерено издавать также и беллетристические произведения и двухнедельный литературно-художественный журнал, в котором, помимо беллетристических и поэтических произведений, будет отведено место социально-экономическим наукам, художественной критике и библиографии.

Литературно-художественная секция призывает пролетарских и крестьянских писателей и писателей-профессионалов к творчеству, к великой культурной работе просвещения рабочих и крестьянских масс...»

В 1920 году в Омске стали выходить журналы: «Красноармейская звезда» (орган политотдела 26-й дивизии), «Красный путь» (орган Омского Губбюро РКП(б) и Губисполкома), «Юношеская правда» (орган Сиббюро РКСМ), «Сибирский красноармеец» (орган Политпросветуправления Зап.-Сиб. военного округа) и «Вестник аудитории военного знания», переименованный в том же году в «Военный журнал Сибири». Это были общественно-политические журналы. Ни один из них не занимался вопросами литературы. Нас в данном случае больше интересует журнал «Искусство», первый номер которого вышел в 1921 году. В нем были опу-

...ликованы стихи Г. Вяткина, А. Оленича-Гнеденко, Вс. Иванова, П. Дриверта, а также ...литературоведческих, критико-библиографических и искусствоведческих статей.

В том же 1921 году в газетах «Сибирь», «Рабочий путь» появились стихи А. Оленича-Гнеденко, А. Ординарцева, Л. Мартынова. Газеты того времени вели собирательную работу в области литературы.

Второй (и последний) номер «Искусства» вышел в ... г. Помимо стихов упомянутых авторов, здесь появились стихи Давида Мартынова, Сергея Орлова, Кондратия Урманова, литературный набросок Александра Блока, рассказы Антона Сорокина и Н. Семенова.

В журнале имелся отдел хроники «Литературная жизнь в ... (сведения о ...)». Напечатана любопытная заметка, характеризующая литературную жизнь в Омске в те времена. Вот ее содержание:

«В течение целого года, почти еженедельно, в Омске происходят собрания поэтов и писателей, преимущественно молодых. Авторы читают свои произведения, выслушивают критику, дискуссируют о тех или иных литературных течениях.

Наиболее заметными в «Омской артели поэтов и писателей» являются: Леонид Мартынов, Ник. К..., Сергей Орлов и Н. Семенов, чьи произведения мы в данном номере «Искусства» и помещаем. Стихи их разнохарактерны и разноценны, но все они в той или иной степени интересны, оригинальны, местами оригинальны.

Кроме этих лиц, в артели выступали со стихами или прозой: пролетарский поэт Бажанов, крестьянский поэт К. Тупиков, Н. Шебалдина, А. Сорокин, Л. Савкин, Ксения Львова; Павел Олеич-Гнеденко, Константин С..., П. Сутын, Ольга Черемшанова, Е. Андреева, Е. Минин и др. Перечисляем эти имена в надежде, что некоторые из них со временем выявят себя ярче».

Однако надежды журнала оправдал только один из упомянутых выше — Леонид Мартынов, выросший с тех пор в широко известного поэта.

Очень активным в этот период был Антон Сорокин, но не ...ставленная им со времени футуризма тактика ... рекламы, явно устаревшая и переставшая быть нужной, помешала дальнейшему развитию его таланта. Вместо ... художественных произведений он убивал свои силы на всевозможные рекламные трюки. Так погиб незаурядный талант Антона Сорокина. Может быть, преждевременная смерть от туберкулеза не дала ему возможности полностью проявить себя.

Издательство осуществило свое намерение, объявленное в обращении литературно-художественной секции, и выпустило в 1921 году «Театральную библиотеку». В ней вышли пьесы Рябова-Бельского «Последний заговор», Николая Еремина «Сытые и голодные или поросенок в школе», Ан-ского «На конспиративной квартире», Бламина «Адвокат-пройдоха» и «Семья хлеборобов», С. Савченко «Недавно минувшие дни», И. М. Майского «Вершины», В. Батаргина «Красный Петрушка», И. Свадковского «Изобретатель», комедия И. Л. Бена «Спиритический сеанс», удо-

стоенная на конкурсе Политуправления Западно-Сибирского военного округа премии, и «Четыре инсценировки рассказов Салтыкова-Щедрина и Чехова». Любопытны цены на некоторые из пьес. Так, например, пьеса «Изобретатель» стоила 5 тысяч рублей, другие по 3, 4 и даже 10 тысяч рублей. Помимо пьес, в «Театральной библиотеке» вышел плакат-руководство Б. А. Рославлева по народному театру.

Из всего сказанного видно, что литературная жизнь Омска в 1920—1921 годах была довольно оживленной. Участие в журнале «Искусство» и других изданиях таких, теперь общеизвестных писателей, как Всеволод Иванов, Феоктист Березовский, Петр Драверт, Александр Олонич-Гаспенко (редактировавший «Искусство»), Леонид Мартынов, имело большое значение для дальнейшего развития советской литературы в Западной Сибири. Впоследствии Сибирь дала не мало значительных имен советской литературе. Кроме перечисленных надо назвать Анну Караваеву, Лидию Сейфуллину, Ивана Шухова, Сергея Маркова.

Но деятельность издательства в те годы, конечно, не ограничивалась изданием только художественной литературы. В 1920—1921 годах печаталось много и партийно-политической литературы. Среди других книг были изданы: «Партийная работа в деревне», «Почему издан декрет о сибирском хлебе», «Российская Коммунистическая Партия большевиков (к партийной неделе)», «Организация Советской власти на местах» и т. д. Издавалась большая серия «На помощь сибирскому земледельцу», в которой принимали участие и ныне живущие в Омске и поддерживающие связь с издательством проф. К. Е. Мурашкинский, проф. П. Л. Драверт (недавно скончавшийся), проф. С. Б. Башкиров и другие. Выпускались книги по сугубо актуальным вопросам. В частности, в голодный 1921 год была издана брошюра «Об использовании корневища сусака в качестве суррогата хлеба». В конце 1920 года вышла объемистая книга «Три года борьбы». В этой книге опубликована работа Емельяна Ярославского «Три года диктатуры пролетариата РСФСР». Статьи за подписью тов. Ярославского многократно публиковались в журнале «Красный путь».

В последние годы издательство претерпело ряд организационных изменений. После того, как административный центр Сибири переместился в Новосибирск, Сибирское отделение Государственного издательства разделилось. На его базе были созданы издательства в Новосибирске и Омске. Омское получило новое наименование — Сибгубиздат. Когда Омск перестал быть центром губернии, издательство преобразовалось в Омское отделение, существовавшее до создания Обско-Иртышской области. Это время оно находилось в г. Тюмени и называлось «Обско-Иртышское Государственное издательство». В 1935 году, когда была образована Омская область, издательство снова переехало в Омск и снова стало центром, вокруг которого группировались как литературные, так и научно-технические силы города.

В 1939 году, впервые после значительного перерыва, в Омске было создано литературное объединение, функционировавшее до начала Великой Отечественной войны. Во время войны большинство членов объединения (Леонид Мартынов, Виктор Утков, Марк Юдалевич, Сергей Веремей и др.) были призваны в

армию. Литобъединение распалось. Но к осени 1942 года в Омск приехали эвакуированные писатели и литературоведы: Феоктист Березовский (снова в Омске почти через четверть века), Борис Ковынев, Степан Лунин, Борис Бухштаб, Николай Вигилянский, Ася Генкина, Павел Иоффе, Михаил Соколов и Анна Сбитнева. Это позволило создать при издательстве группком писателей, который объединил до 25 человек, главным образом начинающих писателей и поэтов.

После этого литературная жизнь Омска значительно оживилась. Проводились литературные вечера в госпиталях, в воинских частях, в институтах, в городском партийном кабинете. Были организованы консультации для начинающих писателей, возобновился выход «Омского альманаха», прерванный в 1940 году. Оживление литературной жизни привело к более близкому общению писателей между собой. Появилась потребность собираться. В февральские вьюжные вечера 1943 года по четвергам люди спешили к зданию по ул. Ленина, где в уютной светлой комнате собирались омские писатели.

Вначале приходило пять — десять человек. Завязывался общий разговор. Потом кто-нибудь из присутствующих, по собственному почину, читал свои стихи или рассказ, или отрывок из повести, романа. После чтения непроизвольно начиналось обсуждение. Никто не руководил заседанием, оно шло само собой, так сказать, самотеком.

Совершенно ясно, что такие собрания должны были перерасти в более широкие. Так оно и произошло. Уже к осени 1943 года вечера стали посещать до 40 человек, а позднее приходило до 100. Постепенно это стало традицией: каждый четверг писатели, литераторы, начинающие авторы собирались для обсуждения своих творческих вопросов. Так родились литературные «четверги» в Омске. Теперь, как и в 1920 году, писатели стали собираться еженедельно. Эвакуированные в Омск писатели возвратились в родные места, а литературные «четверги» остались, потому что за это время выросли новые люди, кое-кто из призванных ранее в армию приехал снова в Омск. Они составили костяк литературного объединения.

Обсуждение творчества начинающих писателей на «четвергах» помогало им расти, совершенствоваться, исправлять свои недостатки, учиться у более опытных товарищей. Николай Москалев, Нина Скрынникова, Владимир Судачков, Петр Радищев, Василий Угрюмов, во многом обязаны своим ростом литературным «четвергам». Пришли они сюда несмелыми, робкими посетителями, смутно чувствовавшими влечение к литературе, а теперь их произведения печатаются в «Омском альманахе», в газетах, передаются по радио, пьесы В. Судачкова ставятся в омских театрах. И можно надеяться, что некоторые из них со временем выявят себя еще полнее и ярче.

Особенно большие надежды мы возлагаем на Николая Москалева, который несомненно обладает незаурядным поэтическим талантом. Его стихотворения «Самолет» и «Метеорит», опубликованные в пятой книге «Омского альманаха», большая поэма «Инженер», над которой он сейчас закончил работу, стихи, публикуемые в настоящей книге альманаха, — свидетельствуют о боль-

щих возможностях поэта. Николаю Москалеву нехватает пока терпеливой, кропотливой работы над стихами.

Способной поэтессой-переводчицей зарекомендовала себя Нина Скрынникова. Владимир Судачков в последние годы пробует свои силы в области драматургии.

Все работы начинающих писателей обсуждаются на литературных «четвергах».

«Четверги», таким образом, превратились в творческую лабораторию писателей. Они стали большим общественным явлением в городе. Теперь они проводятся уже не в скромной комнате в здании по ул. Ленина, а в одном из вместительных залов Городского партийного кабинета.

«Четверги» оказывают большую помощь в работе издательства. При отборе художественных произведений для издания, издательство учитывает мнение участников «четвергов».

Значительная работа проделана областным Государственным издательством в период Великой Отечественной войны. Несмотря на большие трудности в получении бумаги, за время войны издано 211 книг общим тиражом 2 млн. 142 тысячи экземпляров.

Особенно большой спрос был на произведения товарища Сталина. Брошюры с текстами докладов и речей товарища Сталина расходились сотнями тысяч экземпляров. Слово Сталина приободряло наш народ, вселяло уверенность, разжигало чувство советского патриотизма, звало на борьбу с германским фашизмом до победы. За годы войны издано более четырехсот тысяч экземпляров произведений товарища Сталина.

Выпускаемая литература способствовала мобилизации духовных сил нашего народа на борьбу с гитлеровской Германией, на самоотверженный труд в тылу. Когда гитлеровские орды летом и осенью 1941 года рвались вглубь нашей Родины, когда требовалось максимальное напряжение сил народа, издательство выпускало призывные плакаты, разъясняло трудящимся звериное лицо германского фашизма. Тогда вышли книги «Что несет фашизм крестьянству», «Расовый бред германского фашизма», «Смерть детоубийцам», «За честь и свободу Родины», «Разгневанная Россия», «Кровь народа».

Но важнейшей задачей тыла было: обеспечить фронт продовольствием. Надо было добиться четкой работы сельского хозяйства в военных условиях. Издательство выпускает книги о том, как лучше организовать проведение весеннего сева, как лучше убрать хлеб, как лучше использовать тракторы и комбайны. В свет выходят брошюры «Памятка тракториста», «Памятка комбайнера», «По-большевистски проведем весенний сев», «Сборник к уборке урожая», «Агротехника для колхозов и совхозов Омской области», «Опыт работы комбайнера Наумова». В 1942 году издается серия брошюр «Передовики сельского хозяйства», в которых рассказывается о лучших достижениях колхозников Омской области. В этой серии вышло 8 брошюр. По вопросам сельского хозяйства за военные годы было выпущено более миллиона книг и брошюр.

Из года в год выпуск литературы увеличивался. В 1945 году издано в полтора раза больше, чем в 1944 году. План издательства на 1946 год предусматривает выпуск книг общим тира-

жом в 1 млн. 107 тысяч экземпляров. По отношению к 1945 году это составит рост более чем в два раза. Только в первом квартале этого года тираж выпущенных книг превысил 400 тысяч экземпляров.

Областное Государственное издательство пришло к своему 25-летию со значительными достижениями. За двадцать пять лет советского книгопечатания в Омске сделан большой вклад в культурное преобразование нашей области. Книги, изданные в Омске, шли в самые отдаленные уголки нашей области и там незаметно совершали большое и полезное дело. Приобщение к культуре широких народных масс, распространение знаний среди трудящихся — вот те великие и благородные задачи, которые выполняет книга. Бескорыстное служение этим задачам есть почетная обязанность работников советской печати.

Декабрь 1945 г.

М. БУДАРИН

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

(ЗАМЕТКИ ЖУРНАЛИСТА)

1. БОГАТСТВА СЕВЕРА

Ежедневно с тюменского аэродрома уходят тяжелые транспортные самолеты в Заполярье, на Сале-Хард и Новый Порт. Они везут на Обской Север пассажиров и грузы, газеты и письма.

Всякому, кто летал зимой в Заполярье над просторами Обского Севера, надолго запомнится величественная панорама могучей ленты Оби, густых заснеженных дебрей, в изумрудно-зеленом разливе которых крохотными островками вкраплены редкие таежные селения.

Сразу за Тюменью начинается дремучая бескрайная тайга. Скупую неяркую красоту сибирских хвойных лесов оценишь не сразу. Сначала густая тайга кажется однообразной и мрачной. Но приглядишься к непроходимой кедровой чаще, к стройным вековым соснам, и почувствуешь могучую красоту суровой обской природы.

Рассекая тайгу, узкой полоской белеет внизу длинная просека — Тобольский тракт. Когда-то по этому тракту, бряцая цепями, брели угрюмые колодники в Тобольский острог.

Мелькнул над Иртышом высокий Чувашский мыс, место исторической битвы Ермака с Кучумовым войском, — и вот он, белокаменный Тобольск, — город, стяжавший и печальную и славную известность в русской истории. Уже с аэродрома отчетливо видны массивные стены Тобольского кремля, строгие крыши шатровых кремлевских башен, белеющих над крутизною Троицкого мыса. И над всем городом возвышается замечательный памятник церковного зодчества — Успенский собор — первое каменное сооружение в Сибири, построенное в 1686 году.

Ни один из городов Сибири не может равняться с Тобольском богатством исторического прошлого. Великолепные памятники старины сохранились в этом городе-музее. Все будит здесь воспоминание о прошлом — талантливом и творческом с одной стороны, гнетущем и мрачном — с другой.

Отсюда вышла целая плеяда талантливых людей, сделавших большой вклад в мировую культуру. Гениальный химик Менделеев, известный композитор Алябьев, творец прославленной сказки «Конек-горбунок» поэт Ершов, художники Перов и Врубель были тоболяками. Есть дом в этом городе — здание бывшей гим-

назии, — в котором жил Радищев, родился Алябьев, училея Менделеев, преподавал Ершов.

Тобольск был местом ссылки, заточения. Здесь сохранилась колоколенка — тюрьма первого ссыльного в Сибирь — угличского колокола, сосланного в стольный град Сибири по указу Бориса Годунова в 1593 году после наказания плетьми. В здешней тюрьме сидели Чернышевский и Короленко. Сумароков, сосланный в Тобольск, издавал здесь в 1791 году первый в России провинциальный журнал «Иртыш, превращающийся в Иппокрену».

В Тобольске находится памятник покорителю Сибири — Ермаку Тимофеевичу.

У тобольских художников, музыкантов, актеров и мастеров резьбы по кости есть свои традиции. И тоболяки бережно хранят их. В этом маленьком городе талантливый коллектив драматического театра ставит лучшие произведения русских и европейских классиков. Здесь работает музыкальная школа. Резьба по кости — один из старейших художественных промыслов Тобольска. Этот город давно славится как родина выдающихся мастеров, создающих подлинно художественные произведения из костей мамонта и моржа. Произведения тобольских косторезов Люпатина и Синицына отмечались до войны золотыми медалями на международных выставках. Сейчас артель косторезов изготовляет искусно вырезанные из кости мамонта и моржа шкатулки, чернильные приборы, портсигары.

За Тобольском в таежной обской глуши селения встречаются редко. Изредка встретится крохотная лесная деревушка — и снова дремучий бор, болота, мохнатые вековые ели.

На холме, близ слияния двух великих рек — Иртыша и Оби — живописно расположился новый таежный город, окружной центр Ханты-Мансийск. Еще 15 лет назад на месте Ханты-Мансийска стояла непроходимая кедровая чаща. Строителям города приходилось раскорчевывать каждый метр земли. Рост Ханты-Мансийска не прекращался и во время войны. За эти годы построено 28 больших домов, сооружена кирпичная баня, построен водопровод. Жители Ханты-Мансийска с гордостью показывают свой театр — Дом народов Севера, звуковой кинотеатр, библиотеку, краеведческий музей, электростанцию. Почти весь город состоит из типовых двухэтажных домов, построенных из превосходного мачтового леса. Ханты-Мансийск — кузница кадров Обского Севера. В городе четыре неполных и одна средняя школа, педагогическое училище, школа юнг, торговая и фельдшерская школы.

Сказочно велики богатства этого края. В русских преданиях Обской Север был неведомой диковинной страной. В чудесных сказках о северном Лукоморье народ давал фантастические объяснения реальным пушным богатствам и сокровищам недр Обского Севера. Но народная молва не рассталась со сказочным Лукоморьем и после того, как в ледяные его ворота проникли сподвижники Ермака, ибо подлинные богатства этого края схожи с баснословной былью. В отрогах северного Урала ненцы и ханты давно находили топазы, аметисты и хризоберилы. Здесь встречаются залежи хрусталя и камни высокого ювелирного значения. В горах попадаются топаз, называемый в огранке сибирским бриллиантом, и аквамарин — благородная разновидность берилла цвета

морской воды. В верховьях реки Щучьей охотники нередко находят яшму и полуспал. На реке Ляпин добывается золото.

Сибирского соболя знает полмира. Соболь был золотой казной русских царей. В верховьях рек Малой Сосьвы и Конды на площади в 600 тысяч гектаров раскинулся соболиный заповедник, являющийся одновременно крупной культурной базой Обского Севера. (При заповеднике имеется школа, интернат, радиостанция, амбулатория). Соболь размножается здесь так быстро, что прошлой зимой в окрестностях заповедника были заготовлены сотни шкурок этого редкого зверя. Кондинско-Сосьвинский заповедник — самое крупное в СССР сосредоточие соболей и единственное в Азии место, где сохранился речной бобер. Обской Север изобилует белкой, горностаем и песцом.

Сорок два вида ценнейших рыб встречается в Оби. В бассейне этой великой реки находятся крупнейшие в Союзе луга площадью в два миллиона гектаров. На тысячи километров тянутся здесь густые девственные леса.

Обской Север — край нетронутых сказочных богатств. Его неисчислимые ресурсы раскрывают огромные перспективы для развития народного хозяйства Севера.

2. САЛЕ-ХАРД

К северу от Березова, вдоль излучины Оби, густые хвойные леса редеют. Мелколесье плавно и незаметно переходит в лесотундру. На холмистой равнине, изрезанной бесконечными иероглифами заснеженных озер и рек, черными точками вкраплены заросли приземистой полярной березки.

Здесь резче чувствуется ледяное дыхание океана. Изредка в тундре проползет обоз из оленьих упряжек. Снова озера, болота, заснеженная пустыня. И где-то в этих целинных местах — заполярный город Сале-Хард.

Слева выглянули снежные вершины Приполярного Урала, потом показались серые домики Сале-Харда, прилепившиеся на берегу Полуя. Красиво и бойко расположенный на крутом, высоком мысу, город далеко виден в тундре.

Сале-Хард — центр огромного Ямальского округа, по территории равного Франции. Он стоит в двух километрах к северу от полярного круга на обрывистом берегу реки Полуй близ впадения его в полноводную Обь. Сале-Хард примечателен прежде всего тем, что это один из пяти советских городов, находящихся в тундре за полярным кругом.

На языке ямальских ненцев Сале-Хард значит «город на мысу». В 1593 году воевода Никита Трахантионов основал в низовье Оби бревенчатый острожок и нарек его Обдорском. Деревянный острог был первой крепостью русских в огромном диком крае, называвшемся Обдорией. Частокол обдорской крепости источал еще свежую сосновую смолу, когда этому оплоту русских удальцов пришлось выдержать первые набеги воинственных кочевников, бродивших по гиблой Ямальской тундре.

О том, как выглядел Обдорск в 18-м столетии, пишет академик В. Ф. Зуев, посетивший этот город в 1774 году. «Обдорский городок имеет всего пять жилых домов, но благодаря большому

количеству амбаров издали он выглядит большим селом. Огородные растения здесь вовсе не вырастают».

До революции Обдорск рос, как растут в Заполярье деревца — по метру в столетие. В 1896 году в нем насчитывалось 56 домов, один казенный хлебный магазин, церковь и приходская школа с 14 учащимися.

Кто узнал бы сейчас старый Обдорск в его обновленном облике? Как непохожа судьба советского заполярного города Сале-Харда на жалкую участь глухого уездного городка Обдорска! Неузнаваемо вырос Сале-Хард в годы сталинских пятилеток. Сейчас здесь насчитывается около 3 000 домов и почти 12 000 жителей. Украшенное северным резным орнаментом, на улице Республики стоит самое красивое здание Сале-Харда — зоотехнический техникум. В городе много больших двухэтажных домов. В центре Сале-Харда, недалеко от пристани, стоит просторное здание клуба, которое называется здесь Домом песца. В городе имеется средняя школа, педагогическое училище, окружная партийная школа.

Над глинистым обрывом Полуя вырос новый городок, примкнувший к Сале-Харду, — консервный комбинат, вырабатывающий превосходные консервы из нельмы, максуна.

В затоне, где зимует караван судов, с утра до сумерек слышен дробный перестук топоров и людской оживленный говор. Здесь строят парусные рыбницы и бударки, плашкоуты и катера.

В Сале-Хардскую пушную контору со всех факторий Ямальской тундры стекаются драгоценные меха — белоснежные и голубые песцы, черносеребристые и красные лисицы, темные с рыжеватым отливом и шелковистой блестящей шерстью соболя.

В городе работают кожевенный, лесопильный и кирпичный заводы.

Здесь нет тишины захолустья. Каждый день гудят над Сале-Хардом тяжелые транспортные самолеты, доставляющие в центр Ямальской тундры пассажиров и грузы. По улицам города скользят легкие нарты в оленьих упряжках и крохотные саночки, влекомые собаками, на которых салехардцы возят дрова и воду.

Кроме русских город населяют ненцы, ханты и коми. На базар и в окружные учреждения часто приезжают кочевники-оленеводы. Резкая, гортанная речь ненцев здесь часто перемежается с певучим мягким хантэйским говором. Ненцы сдержанны и ведут себя с оттенком сурового достоинства. Ханты — наоборот, народ веселый и общительный, не лишенный остроумия. Хантэйский язык, более богатый, чем ненецкий, содержит много юмористических оборотов.

Окрест Сале-Харда простирается голая тундра, покрытая тощим полярным кустарником. Из тундры часто налетают бураны. Колючий и жесткий от мороза, гонимый морским ветром снег засыпает порошей заполярный город. Сначала тундра курится легкой дымкой снежных барханов. Потом ветер с океана, леденящий, обжигающий, пронизывает бревенчатые дома, меховую одежду, обжигал лицо, как пламя. В эти дни замирает движение на улицах Сале-Харда. Над завьюженным городом подолгу стоит мерцающая синь полярной ночи.

Зимний день столь короток, что в декабре читать без света можно лишь с 10 часов утра до часу дня. Мороз, сковавший

Обь и всю тундру, так очищает воздух, что небо стало еще чистым и прозрачным, как обской хрусталь.

Точно великаны в белых мантиях, сверкают белизной заснеженные вершины Урала, четко и ясно видные из Салле-Харда. Днем над чертой горизонта, словно оранжевый фонарь, чуть мерцает тусклый лик невидимого солнца, когда оно садится за уральской грядой, отроги хребта горят, как рубиновые горы.

Ночью в городе долго светятся электрические огни: в Доме ненца идет комедия Островского, в городской библиотеке салехардцы читают книги [illegible] «большой земли». Потом в полярном городе [illegible] тишина. Только иногда в тундре слышен тихий шелест и говор — ненцы гонят оленьи стада. Олени бегут по снежному насту изумительно легко, точно не касаясь земли, и в сумраке ночи легкие нарты также беззвучно скользят по снежной целине.

...Нелегко жить в суровом Ямальском краю, где мерзлая земля никогда не оттаивает глубже метра. Казалось бы, самой природой суждено здесь застынуть жизни в раз навсегда отлившейся форме. Но люди далекого заполярного города неутомимо изменяют облик своего неуютного края. Жизнь, напряженная, кипучая, здесь бьется, как и на любом клочке советской земли.

3. ПИОНЕРЫ ЗАПОЛЯРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Сохранилось предание о том, как зарождалось земледелие в Ямальской заполярной тундре. В 1601 году, после постройки Обдорского острога, князь обских [illegible] отправился в Москву — бить челом царю Федору [illegible]. Обратный путь царем и наречённый при [illegible] Василием, князь возвратился в родную Сибирь и привез в обдорск в числе московских подарков несколько бочонков хлебной браги. Обитатели шумно отпраздновали возвращение князя Василия. Но, выпив всю брагу, [illegible] опечалились. Тогда князь Василий сказал им:

— Не горюйте: будет у нас в тундре и хлеб и брага; дождемся [illegible]. [illegible] мешка на болотистом берегу Полуя семена привезенного ячменя. Видевший это начальник обдорского острога Митрофан Зотов отнял у князя семена и посеял ячмень на полоску земли, вскопанную обдорскими казаками. Полоска Зотова зазеленела. Но сеятель не дождался хлебных зерен: он умер от цынги. Через несколько дней [illegible] ранний мороз погубил посев.

330 лет прошло с тех пор, как пытались вырастить хлеб в Заполярье остяцкий князь и казачий есаул Зотов. И никто за эти годы не смог на мерзлой почве Ямала вырастить хлеб, овощи и картофель. Веками тосковали здесь русские люди по картошке, капусте и гибли без свежих овощей от цынги.

Выполняя сталинское указание о создании собственной продовольственной базы в каждой области, советские люди на Ямале доказали полную возможность вести земледелие в этих полярных широтах. Им пришлось преодолеть много предрассудков о бесплодности почвы в зоне вечной мерзлоты. Но пионеры заполярного земледелия своими блестящими достижениями подтвердили высказывания К. Маркса о том, что «человек тоже действует на природу, изменяет ее, создает новые условия существования».

Весь Обской Север знает имя зачинателя и создателя ямальского земледелия Дмитрия Мартемьяновича Чубынина, местного метеоролога и растениевода. С Чубыниным мы познакомились в Сале-Харде, где он заведует метеорологической станцией. Четверть века работает в Заполярье над выращиванием овощей этот невысокий худощавый человек. Он решил доказать, что скудную землю Ямала можно заставить родить овощи и хлебные злаки.

Дмитрий Мартемьянович вместе с женой и детьми начал возделывать землю, удобрять болотистую почву навозом, заботливо ухаживать за первыми опытными делянками. Вручную разработал он на окраине Сале-Харда гектар земли и пять лет подряд выращивал на этом участке картофель, лен и кормовые травы. В 1931 году у него уже вызревал ячмень и уродился лен с мягким, шелковистым и длинным волокном. Так, шаг за шагом, Чубынин добивался урожая картофеля и овощей. И он доказал, что в краю буранов, полярных морозов и вечной мерзлоты могут произрастать превосходный редис, репа, турнепс, салат, капуста, морковь, горох и лук.

Особенно хорошо родится чубынинский картофель, который снимают здесь по 3 килограмма с квадратного метра.

12 лет работает Дмитрий Мартемьянович над созданием новой полярной масличной культуры — ярутки. Эта культура, которая считается на юге сорняком, после многолетней культивации стала давать у Чубынина масло. За успешную работу с яруткой энтузиаст-растениевод получил на Сельскохозяйственной выставке в 1939 году золотую медаль. Сейчас ярутка высевается на значительных площадях. Недавно новатор северного земледелия начал эксперименты по выращиванию морозоустойчивого пшенично-пырейного гибрида академика Цицина. Четверть века посвятил Чубынин заполярному земледелию. Половину своей жизни отдал он выращиванию овощей в заполярных широтах.

Крупную роль в развитии земледелия на Ямале сыграла Сале-Хардская Опытная Сельскохозяйственная станция. Агрономы этой станции Б. В. Патрикеев и М. К. Барышников добились выращивания наиболее пригодных для севера зерновых культур. В теплицах Сале-Хардской опытной станции огурцы созревают в конце марта, а первый урожай помидор здесь собирают раньше, чем в Москве — в мае. Применяя для удобрения торф и пойменный ил, работники станции испытали 500 сортов зерновых культур. Уже собрано 8-е поколение ячменя. Здесь апробируются даже каучуконосы — кок-сагыз и тау-сагыз, дающие хороший урожай.

В Сале-Хардском овоще-животноводческом совхозе нам приходилось видеть горы турнепса, белокочанной капусты. Совхоз снимает урожаи овса, рыжика и ячменя.

В тесной связи с научными учреждениями успешно развивают овощеводство хантэйские и ненецкие колхозы. С крохотной опытной делянки Чубынина посевная площадь овощей на Ямале в 1945 году выросла до 354 гектаров. 30 тундровых колхозов освоили новую отрасль северного хозяйства — овощеводство. Летом за околицей районного села Мужи можно видеть, как колосится чубынинский ячмень. Земледелие меняет быт населения тундры, объединенного в колхозы.

...Вождь ямальских туземцев князь Василий, тщетно бросавший ячмень на мшистом, заболоченном берегу Полуя, не знал, не

ведал о том, как вырастает хлеб. Его возрожденные потомки, призвав на службу заполярному земледелию агрономическую науку, успешно возделывают рожь, овес и ячмень, создают в тундре новый земледельческий район.

Все дальше к северу отступает бесплодная промерзшая тундра Заполярья, освобождая место плодородной возделанной почве. Новаторы северного земледелия продвигают овощеводство на широты полярного круга, они изменяют географию сельского хозяйства, претворяя в жизнь слова С. М. Кирова о том, что «нет такой земли, которая бы в умелых руках при советской власти не могла быть повернута на благо человечества».

4. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕННЫХ НАРОДОВ

Изустное творчество угнетенных народов всегда порождает предания, сказки, былины, проникнутые глубокой любовью ко всему светлому, свободному и справедливому. С другой стороны, фольклор порабощенных народов во все века отличался великой ненавистью к силам зла и произвола.

Таким был фольклор ненецких, хантэйских, мансийских племен, издревле населявших бассейны Иртыша и Оби. Эти народы, бывшие до революции бесписьменными, как драгоценность, берегут свое устное творческое богатство. Народные таланты проявлялись лишь в устной поэзии, имевшей ряд оригинальных жанров: героические песни, сказания, драматические представления и лирические песни. Находились литераторы, видевшие в жалкой судьбе кочевых народов Севера не результат зверской эксплуатации, а их, якобы, природную неспособность к восприятию культуры. Наиболее ярко высказал такое отношение к творчеству северных народов видный русский поэт А. А. Фет.

В сыртах не встретишь Геликона,
На льдинах лавр не расцветет,
У чукчей нет Анакреона,
К зырянам Тютчев не придет.

Не суждено было исполниться несправедливым предсказаниям Фета. Этому поэту отвечает молодой хантэйский литератор Н. Свешников.

Жизнью радостной, бурливой,
Счастлив наш народ.
И над тундрой молчаливой
Рдеет солнечный восход.

В Сале-Хардском Доме ненца нам пришлось присутствовать на концерте. Это был смотр дарований возрожденных народов Севера. Женский народный хор коми (зырянский) исполнил старинные песни и задушевные песни советских национальных поэтов. Вслед за хором девушки-хантэйки спели дуэтом песни на родном языке о Сталине, о Конституции.

Возрожденные народы Обского Севера создают свое национальное искусство. У народа коми выросли свои поэты и писатели, произведения которых широко известны коми, проживающим в бассейне Оби. Начинается зарождение молодых национальных литератур у других народов Обского Севера — ханты, манси и ненцев.

Первый драматург ненецкого народа И. Ф. Ного, проживающий в Сале-Харде, является автором двух пьес — «Шаман» и «Восстание Ваули». Последняя пьеса посвящена Ваули Пиеттомину — ненецкому Пугачеву, — который сто лет назад поднял крупное восстание против русского царизма. Пиеттомин вошел в историю народов Крайнего Севера, как организатор самого крупного социального движения этих племен. Легенды и сказания о смелом ненце Ваули до наших дней бытуют в Ямальской тундре.

Самобытный мансийский фольклор имеет глубокие и яркие образы народных героев. В сотнях вариантов передается в мансийском народе легенда о национальном герое-богатыре Эква-Пырпис.

В фольклоре народов Обского Севера сейчас появились новые песни о том, как переделывают Север возрожденные племена. В самые глухие уголки тундры и тайги проникают песни, сложенные о победах большевиков на Севере, и произведения русских классиков, переведенные на северные языки. В 1937 году хантэйские литераторы перевели на родной язык пушкинские сказки и повесть «Станционный смотритель».

В это же время появились самостоятельные произведения на хантэйском языке. Наиболее талантливый из хантэйских поэтов Григорий Лазарев умело использует неиссякаемый родник народного творчества. Его поэтические сравнения правдивы и жизненны. Так, например, выражая чувство любви своего народа к товарищу Сталину, Лазарев сравнивает вождя с орлом — самой популярной птицей хантэйского эпоса:

Мой лыжный северный народ
Тебя, наш вождь любимый,
Звездою яркою зовет,
Орел наш стальнокрылый!

Хантэйский, мансийский и ненецкий народы находятся еще у истоков своего зарождающегося национального искусства. Но появление первых ростков этого искусства — яркое свидетельство большого духовного подъема возрожденных народов Обского Севера.

5. СУДЬБА „ИНОРОДЦЕВ"

Ямал по-ненецки значит — «конец земли».

Вечная мерзлота, долгий зимний мрак и «ледяной мешок» — Карское море, угрюмыми водами которого омывается Ямальский полуостров, — такова картина этого края земли. И все-таки в угрюмую тундру Ямала устремлялось много пришельцев. С тех пор, как сподвижники Ермака, спустившись в низовья Оби на легких и зыбких стругах, покорили Обдорию, началась усиленная колонизация Обского Севера. Тобольские воеводы вместе с князьками племен закрепостили «черных, ясачных людей».

Главной формой эксплуатации туземцев был «ясак», выплачиваемый дорогой пушниной. Относясь к ненцам и хантам, как к разновидностям местной фауны, царские наместники рассматривали кочевников лишь как поставщиков пушнины. Еще в прошлом веке ненцы продавались и покупались на обдорской ярмарке по двугривенному за душу.

Неизмеримые богатства таежных и тундровых просторов в низовьях [illegible] лежали не северным народам, а тобольским купцам и [illegible]. Царизм сеял в заполярном крае нищету и вымирание. По данным академика Палласа в прошлом веке численность населения Обского Севера уменьшилось за 69 лет на 9 тысяч. Профессор Казанского университета Якобий, посетивший Обской Север в конце позапрошлого столетия, был вынужден записать: «На [illegible] родческом нашем севере тихо тянется процесс [illegible]».

[illegible] пытались проникнуть на Обской Север авантюристы, искатели легкой наживы. В прошлом столетии хотел взять в аренду всю область дремучей Мангазеи енисейский купец Кобычев. Петербургский чиновник Лавровский просил правительство, чтобы [illegible] Мангазейский край, более 2 200 000 квадратных верст, отдали ему».

Но лишь народы советского Обского Севера вызвали к жизни [illegible] холодной окраины. В годы сталинских пятилеток здесь были созданы рыбная, рыбо-консервная, [illegible], горная промышленность, построены 4 консервных комбината.

Там, где господствовали шаман и знахарка, сейчас работает советский врач. До революции на всем Обском Севере насчитывалось три больницы с 3-мя врачами. На каждого врача приходилась территория, равная площади 3-х государств — Италии, [illegible]. 44 больницы, 26 врачебных амбулаторий и 167 фельдшерских пунктов обслуживают сейчас население Обского [illegible] было [illegible] от остального мира, то сейчас на Обском Севере работает около 100 [illegible]. В одном только Ханты-Мансийском округе за последние пять лет построено 59 новых поселков с 1 200 новых домов, в которых [illegible] новый образ жизни столько же хантыйских и [illegible] семей.

Неузнаваемо выросли люди северной окраины. За 15 лет существования ненецкого национального округа в Ямальской тундре выдвинулось на руководящую работу более 400 человек из хантов, ненцев, коми и сельькупов.

В Ямальской тундре сейчас самый популярный человек — Дмитрий Тэсида, депутат Верховного Совета СССР. В этих местах, за полярным кругом, родился Тэсида в бедной ненецкой семье. От Енисейского залива до Байдарацкой губы исходил он в детстве за чужими стадами этот обширный край. Вместе с матерью и братом Тэсида батрачил у богатого оленевода. Тэсида помнит, как в кулацком чуме вместе с лайками он ждал, когда с хозяйского стола будут сброшены обглоданные кости. Однажды хозяин прогнал из чума Дмитрия Тэсиду вместе с матерью и братом, ничего не заплатив за 5-летний труд. Потом Тэсида снова батрачил в богатых стойбищах и на факториях у русских купцов. Горек был чужой хлеб, и решил Тэсида завести свое хозяйство. За два воза осетров он выменял у хозяина одного оленя, а вскоре получил еще десяток оленей — калым за сестру. В 1925 году Дмитрий Тэсида впервые услышал от русских о Ленине и Сталине, о новой свободной жизни. Долгими полярными ночами сидел он в своем дымном тесном чуме, раздумывая о свободной жизни, о своей судьбе. В 1932 году в Тазовской тундре

был создан первый колхоз «Победа». Организатором и председателем этого колхоза был Дмитрий Тэсида. Потом его послали на учебу в Сале-Хард. Выросший под открытым небом тундры, Тэсида сначала задыхался в просторном классе окружной партийной школы и на все вопросы односложно отвечал:

— Нитарга, не понимаю...

— Он вернулся из Сале-Харда в родную Тазовскую тундру через три года и стал работать массовиком кочевого красного чума. Вместе с оленеводами Тэсида возил свой чум на тысячи километров, обучая ненцев грамоте, прививая им культуру. В 1938 году ненцы избрали Тэсиду депутатом Тазовского районного Совета, а на первой же сессии — председателем райисполкома. На этой работе проявились организаторские способности Тэсиды. За время его деятельности в Тазовском районе построена консервная фабрика, увеличена сеть медицинских учреждений. Не много найдется таких председателей райисполкомов, которым приходится, как Тэсиде, ездить в один сельсовет своего района за 300—400 километров. На легкой калданке-скорлупке, сшитой ивовыми прутьями, Тэсида смело пускается по многоводному Тазу, несмотря на бурю, подолгу путешествует с избенки к стойбищу.

На языке ямальских ненцев Тэсида — значит безземельный, не имеющий скота. Обездоленным, бесправным бедняком был Дмитрий Тэсида. От безграмотного батрака до государственного деятеля, руководителя крупнейшего северного района, — такой путь проделал сын возрожденного ненецкого народа.

* * *

До наших дней сохранилась летопись, в которой знаменитый старец Нестор записал древнее новгородское сказание о судьбе диких племен Лукоморья, населявших низовья Оби и северного Урала. В той легенде говорится: «суть горы заїдуче луку моря. Высота их до небес, и в горах тех клич велик и говор...» И в эти высокие горы, зашедшие в лужу моря, — повествует предание, — загнал ненцев сам царь Александр Македонский. Заклепанные в толщу Уральских гор, ненцы прорубили в Камне окошце малое, просили железо, чтобы освободиться из каменного плена. Народная легенда рассказывает о том, как много лет назад ненцы потеряли солнце и как стал бродить с тех пор по тундре в поисках потерянного счастья маленький кочевой народ.

Горькой правдой были эти легенды, созданные обездоленным народом. Как в темнице, средь мрака невежества и суеверий, стиснутое законами царизма, веками жило в нищете многострадальное ненецкое племя. Царское самодержавие украло счастье у кочевого народа.

Солнце Сталинской Конституции озарило темную, промерзшую тундру, рассеяв вековую мглу. В суровый пустынный край пришли большевики. Они вернули ненецкому народу потерянное счастье, вывели его на светлую дорогу возрождения.

В. БУРМИН

„ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДМАСТЕРЬЕ ЕВГЕНИЙ МИЛЬКЕЕВ“

Глядит эта тень, поднимаясь вдали
Глазами в глаза мне уныло...

К. ПАВЛОВА

1

Мы песни хвалили, но с юной души
Снять узы недуга и гнет нищеты
Нам некогда было...

К. ПАВЛОВА

Был час поздний, и Москва спала. Неожиданно тишина бульваров была нарушена громкими голосами. Потревоженный ими, проснулся будочник, выглянул из своей полосатой конуры и спрятался обратно. Он узнал нарушителей тишины — они не в первый раз беспокоили его по ночам — писатели, народ непутевый, но для ночной Москвы не опасный.

Предметом горячего спора между писателями на этот раз была судьба юноши-поэта, недавно появившегося в Москве. Спорщики были единодушны в одном: юноша этот — «одна из самых блестящих надежд русской литературы», но ему необходимо много работать над развитием своего самородного таланта. Вот здесь-то и начинались разногласия. Николай Филиппович Павлов, известный автор повестей, горячо доказывал, что юноше-поэту прежде всего нужно овладеть французским языком. Тогда он получит возможность бывать в порядочном обществе и это отшлифует его талант. Ему возражал Алексей Степанович Хомяков, поэт и публицист. С обычной для него неутомимостью опытного спорщика, он бранил и французский язык и порядочное общество. Лишь знание немецкого языка и немецкой философии, по его словам, могло поставить поэта на истинный путь. В доказательство он приводил многочисленные примеры благотворного влияния Фихте и Шеллинга на юные поэтические умы...

Долго еще раздавались на бульваре их возбужденные голоса. Так и разошлись они по домам, не решив, что же нужнее

молодому поэту — светский ли лоск или тяжелоумная продукция немецких гениев. А юный поэт, вероятно, и не знал об этом споре. Да если бы и знал — мало полезного вынес бы для себя. В то время, когда его друзья-благожелатели ломали копья за него в словесном турнире, нуждался он совсем в другом. Мудрый Белинский, узнав об этом споре, сначала посмеялся, а потом грустно заметил:

— Вот чудаки-то! Вместо того, чтобы спорить о нем, лучше бы просто помогли ему... Павлов хочет сделать его светским человеком, Хомяков — мыслителем, а ему прежде всего нужен кусок насущного хлеба и средства добыть его...

Белинский был прав. Он знал цену куска хлеба. Не дворянин и богатый помещик Хомяков, не завсегдатай светских салонов Павлов могли в пустом споре определить судьбу поэта-самородка, выходца из народа. Спор их потревожил только будочника. Последствий для юного поэта он не имел. Поспорили, поспорили и забыли, а юноша-поэт, оставшись одиноким, растратил свой поэтический жар и талант на борьбу за кусок хлеба и, не выдержав, покончил с собой на одном из московских чердаков.

2

Он из отчизны отдаленной
Привез магический смычок.
Е. МИЛЬКЕЕВ. „Художник"

Вскоре после смерти А. С. Пушкина в «Современнике», перешедшем к его другу П. А. Плетневу, начали появляться стихи с загадочной подписью Эм-в. Много в них было еще не зрелого, но опытный глаз видел в новом поэте своеобразный талант, которому нехватало, быть может, только умения и опыта. В стихах была романтическая приподнятость, свежесть образов, оригинальность тем. Поэт, словно, испытывал себя, пробуя перо на различном материале. Он писал стихи о природе, о славном прошлом России, пытался выступать с философской поэзией, перелагал в стихах библейские псалмы... Стихи обратили на себя внимание, но не многие знали, кто скрывается за таинственным Эм-в. Уже первое появление в печати нового поэта было интригующим. П. А. Плетнев в сноске под первым стихотворением Эм-в сообщил читателям: «Эта подпись будет означать стихотворения поэта, о котором помещено известие в XII томе «Современника»[1]. Заинтересованный читатель брал этот том, но и в нем не находил полной разгадки. В начале тома была напечатана большая статья «Путешествие В. А. Жуковского по России». Автором ее, скрытым за тремя звездочками, был сам Плетнев. Он писал: «Мы расскажем здесь занимательное происшествие, действительно случившееся с В. А. Жуковским в эту поездку. В одном из самых отдаленных от столицы городов явился к нему молодой человек и просил взглянуть на его стихотворения, которых было переписано довольно много. Он пришел один, никем не представленный. За исключением очень понятной застенчивости и даже робости, в нем не заметно было этого, всегда неприятного

[1] «Современник», т. XIII, 1839.

подобострастия и ни одного из тех смешных приемов, которые не редки в провинциях. Между тем, из разговора с ним открывалось что он самый бедный человек, не имел возможности образовать себя, а еще менее заменить недостаток учения порядочным обществом. Но в его словах и во всей его наружности нельзя было не чувствовать того достоинства, в которое природа облекает человека с мыслью и характером». Далее Плетнев обещал, что вскоре читатели «Современника» получат удовольствие познакомиться со стихами этого самородка-поэта. Плетнев не раскрывал его имени и не называл места, где обнаружил его В. А. Жуковский, но говорил, что поэт уже покинул свою родину и живет в Петербурге.

Стихи таинственного пришельца все чаще и чаще начинают появляться в «Современнике». В литературных кругах он становится известностью. Русская поэтесса Каролина Павлова посвящает ему свое первое стихотворение, напечатанное в «Отечественных Записках». В том же номере журнала А. Хомяков печатает стихотворение «Ему-же», в котором восторженно восклицает:

Ты наш! Ты наш! Родные чувства
Сказались нам, тебя мы ждем,
Мечты любимец, жрец искусства,
Святым проникнутый огнем.

Очень тепло о творчестве юного поэта отзывается его покровитель Жуковский, а добрейший П. А. Плетнев называет его «замечательным между современными поэтами».

Кто же был этот юный «жрец искусств»? В каком городе нашел его Жуковский?

3

Теперь сказано все. Я открылся вашему превосходительству с чистосердечием ребенка.
Из письма Е. Милькеева В. А. Жуковскому.

Тобольск ждал наследника — будущего императора Александра II. Город подчищался, домовладельцам было приказано держать взаперти лошадей, коров, коз, свиней, которые до этого мирно паслись на зеленых улицах города. Спешно красились фасады домов, верстовые столбы, полицейские будки, шлагбаумы. Солдаты гарнизона не сходили с плаца, готовясь к параду.

За всеми этими официальными приготовлениями к приему высокопоставленного гостя были еще и скрытые. К приезду наследника деятельно готовились три тоболяка — служители музы.

Рядовой 1-го Сибирского батальона Николай Чижов, бывший лейтенант флота, рассчитывал, что по ходатайству наследника ему простится участие в мятеже 14 декабря 1825 года. Он уже заручился поддержкой самого генерал-губернатора князя Горчакова и написал приветственные стихи наследнику.

Вторым был юный учитель гимназии Петр Ершов. Он с утра до ночи просиживал теперь в гимназии, приводя к приезду наследника в порядок библиотеку. За этой скучной работой он мечтал, что наследник и В. А. Жуковский, который был в свите, Александра, помогут ему вернуться в Северную Пальмиру, обитель муз, где так счастливо появился его «Конек». Он тоже

написал приветственные стихи и надеялся, что за него замолвит словечко гражданский губернатор...

Третьим был безвестный судейский писец Евгений Милькеев, давно уже плененный музами. У него не было высоких покровителей, приветственных стихов он не сочинял. Он переписал в объемистую тетрадь старые стихи свои, «плод давних и одиноких трудов», и на свой риск и страх решил передать их Жуковскому, чтобы «услышать правду и верный приговор себе»...

Писец этот и оказался удачливее всех. Чижов только через два с лишним года получил производство в офицеры. О Ершове наследник, когда ему представили автора «Конька-горбунка», глубокомысленно сказал: «Очень помню», похвалил приветственные стихи, подарил золотые часы с цепочкой и, решив, что сделано достаточно, забыл о тобольском поэте.

Иначе повернулась судьба юноши Милькеева[1]. Жуковский прочитал его стихи и нашел их достойными внимания, а автора скромным и талантливым человеком. Он спросил у Милькеева, чего тот желает для себя? Юноша ответил: «Если действительно существует во мне что-нибудь похожее на природные дарования, я желал бы обработать их, воспитать способности учением, распространить силы познанием»... Ответ понравился Жуковскому и он взял на себя заботу о дальнейшей судьбе юного поэта. Он попросил начальника канцелярии, где служил Милькеев, при первой поездке в Петербург взять с собой талантливого писца. Просьба Жуковского была выполнена, и в начале 1838 года Милькеев появляется в столице.

«Ободренный приветом того, в ком видит истинного судью» своих поэтических опытов, юноша «начинает светлую эпоху литературной жизни», так оптимистически писал П. А. Плетнев в своей статье о Милькееве. Так ли было это, мы увидим позднее, а пока вернемся еще раз в Тобольск и расскажем, как на берегу желтоводного Иртыша появился этот юный «жрец искусства», счастливым случаем перенесенный на берега Невы.

4

Я знаю бред его:
Он занимается поэтством!

Е. М

Московские и петербургские друзья Милькеева называли его самородком. Да он и был им в полном смысле этого слова. Он был рожден поэтом, с детских лет его тревожил мир звуков, музыка слова.

Впечатлительный и робкий мальчик рос одиноко. Он любил бродить по живописным окрестностям Тобольска, отдаваясь мечтательному созерцанию природы. Крик птиц, шум леса, говор ручьев — все находило отклик в его поэтическом воображении. Да и сам Тобольск, издавна слывший приютом муз, не мало способствовал развитию поэтических склонностей мальчика...

---

[1] Е. Милькеев родился в 1815 г. Описываемое событие относится к 1837 г.

А пока другая деятельность ожидала его. Одиннадцати лет, окончив уездное училище, он поступает в одну из тобольских канцелярий писцом. Переписыванием бумаг он совершенствует свой почерк и зарабатывает на жизнь себе и старушке-матери.

Мир канцеляристов и приказных не затушил поэтической искры в Милькееве. Порой ему, недоучке, даже приказная фразеология кажется верхом совершенства. Но кроме канцелярских бумаг ему попадают в руки и книги. Правда, обычно это невысокая федоровская[1] продукция: «Истории французского мошенника Картуша», «Пригожая повариха, или похождения развратной женщины», «Повесть о приключениях английского милорда Георга»... Но и эти книги тревожат поэтическую фантазию, и не раз молодой писец пытается набросать на бумаге те неясные и туманные образы, что беспокоят его уже давно. Но перо еще не повинуется уму. И вот, когда Милькееву было около шестнадцати лет, он знакомится с баснями Крылова. Они явились откровением. Юный писец не выпускает книжки Крылова из рук, он выучил ее от корки до корки. Тайна музыки слов начинает открываться ему. Он находит свое призвание. Он будет поэтом. Но как? Тысячи вопросов встают перед ним. Уездное училище едва научило грамоте. Средств к дальнейшему учению нет. Книги редки. Он словно бродит в темноте, видя впереди светлый огонек и не зная дороги к нему, не зная, какие опасности стерегут его на этом пути. К кому обратиться за помощью? Он так низко стоит на общественной лестнице, так придавлен сиротством, нуждой, бедностью, вечным страхом за кусок хлеба, что робость мешает ему сделать решительный шаг. Да и к кому обратиться? Не к Словцову[2] же пойдет он, жалкий писец, к Словцову, имеющему генеральский чин. Не Черкасов[3], свой человек в тобольском bon monde поможет дурно-одетому, дурно-воспитанному судейскому писцу.

А служба становится невыносимой. Писцы косятся на него. Он странен, непонятен, этот юноша, вечно занятый книжкой, бегущий от их нехитрых забав. Про него начинают ходить нехорошие слухи:

Поверите ли? Днем и ночью, в будни, в праздник,
Сидит наедине все, с книгою проказник!
Порою ставши в угол под окном,
Бормочет про себя невнятное тишком...
Не худо право бы смотреть за ним построже:
Не служит ли молодчик наш в масонской ложе![4]

И в поэтическом своем одиночестве юноша совершает подвиг. Страстное желание познать тайны поэтической гармонии не дает покоя, и Милькеев открывает законы стихосложения. Он самостоятельно нашел правила чередования слогов, тайны ритмической

---

[1] Федоров, известный издатель лубочной литературы.
[2] Словцов, сибирский историк и поэт.
[3] Черкасов, поэт.
[4] Е. Милькеев, «Сцена канцелярская», «Современник», т. XV. 1839.

музыки строк, находит то, что давно уже было найдено, потратив на это много юношеского жара и таланта.

Милькеев в упоении от своего открытия. Он весь отдается творчеству. Он без устали пишет стихи. Все служит ему источником вдохновения. Опьяненный музами, он очертя голову ринулся в открывшуюся ему страну поэзии. В приказе на него махнули рукой:

От всех других безумств избавиться есть меры,
Но кто бы, заразясь поэтством, поумнел?
Еще не виданы примеры,
Пропадший человек...[1]

Но не долго длился этот поэтический пир, сомнения начинают мучить поэта. Он уже не мальчик. Надо учиться. Но как? Где? Бросить службу нельзя: на руках старая мать, она вырастила и воспитала его, борясь с нуждой. Помощи ждать неоткуда. И юный писец Тобольского приказа все чаще начинает посещать заведение купчихи Расторгуевой, изменяя водам Иппокрены ради чаши Бахуса, дающей забвение.

Он уже начал терять надежду на будущее, как прошел слух, что вместе с наследником в Тобольск приедет Жуковский, и робкий юноша решается на смелый шаг.

Фортуна улыбнулась ему.

5

Душа томилася моя...

Е. МИЛЬКЕЕВ. „Затворницы"

Столица многолика, многообразна. На страницах журналов идут литературные сражения, в кулуарах кипят страсти. Милькеев силится разобраться во всем этом сплетении событий, людей, литературных течений, нравов, симпатий, найти свое место среди них. Это не удается ему. Недостаток образования, новая, необычная для провинциального юноши обстановка быстротекущей жизни столицы мешают ему в этом. Он признается: «На теперешнем месте я чувствую себя удивительно ничтожным и пустым; предприимчивости и честолюбия не имею вовсе». Но он не сдается. Он понимает: у него один путь — учиться. Но и на этом пути тысячи препятствий.

«Надобно сесть за одну лавку с детьми, а мне двадцать три года!» — восклицает он в письме к Жуковскому. Как сочетать службу с учением? Бросить служить нельзя, нужно жить на что-то. Служить и учиться — невозможно. Да и здоровье, подорванное ранним трудом и служением музам, не позволит этого. В Тобольске осталась старая мать — сердце сына болит за ее одинокую старость. Мучит Милькеева и недоверие к собственным силам — вокруг он видит такое разнообразие поэтических талантов, что порой его собственные опыты кажутся ему ничтожными.

Милькеев пишет большое, страстное письмо своему покрови-

---

[1] Е. Милькеев. «Сцена канцелярская», «Современник», т. XV, 1839.

телю Жуковскому, в котором излагает все свои сомнения и трудности, вставшие перед ним. «Не затем ли я сюда явился, чтобы решить задачу жизни, начать новый период? Но, как осуществить надежды, сделать поворот?.. В таких обстоятельствах к исполнению моего желания и вашей воли, существует разве один способ, одно средство: надобно искать такого рода службу, при которой бы с отправлением обязанности, соразмерной моим способностям, я мог бы иметь время для учения... Конечно, приобресть такую должность было бы счастье, больше которого я пожелать не могу. Но у меня есть мать, я оставил ее далеко. Тягостно мне не видеть той, которая меня родила и боролась почти с нищетой для моей жизни. Решусь ли опечалить ее старость?.. Я уезжал с тайным желанием остаться здесь, чтобы положить мои способности в горнило учения; теперь я слышу внутри упрек... Но отстать от избранной мысли, воротиться на свое прозаическое место, к этой должности и этим занятиям, от которых, нечего греха таить, часто тупеет голова!.. Итак, я должен решиться прозревать в невежестве, должен идти против воли и желания, разбив до основания надежды! Это ужасно, как смерть! Может быть судьба уже не пошлет другого случая приблизиться к средствам просвещения, и я, не выступив из круга, враждебного моим расположениям, вероятно останусь там надолго. Нет. Лучше решусь пожертвовать чувством, которое меня мучит и призывает туда. Пусть укрепится мать против разлуки с сыном, необходимой для пользы его нравственных сил... он хочет отважиться на подвиг трудный и слишком поздно; но лучше теперь,—нежели никогда!»

Милькеев просит Жуковского: «доставьте мне место, где бы, исполняя свою обязанность, я мог бы иметь книги и время».

Какую должность подыскал ему Жуковский, мы не знаем. Но на берегах Невы Милькеев задержался не долго. Через год с небольшим, во время которого он еще раз побывал в Тобольске, вероятно затем, чтобы схоронить свою мать, мы видим его уже в Москве, восторженно принятым кругом Хомякова и Павловых. Да и сама Москва, древний русский город, ему, тоболяку, милее, чем холодноватая Северная Пальмира.

Надменный, гордый и лукавый
Мне улыбнулся призрак славы
И запоздалою молвой
Я удостоен был толпой.

Е. МИЛЬКЕЕВ. „Художник".

Годы тогда были тяжелые для русской поэзии. Русская литература еще не оправилась после утраты Пушкина, Лермонтов был изгнан на Кавказ, гражданская лира Некрасова еще не зазвучала, Тютчев не часто присылал в «Современник» свои стихи из Германии. Это было поэтическое безвременье, когда на журнальных страницах появлялось не мало стихов, но очень немногие из них оставались жить. Оригинальная фигура самородка-поэта, стихи которого неровны, но порой изумительно чеканны и свежи, обращает на себя внимание многих литераторов. И недаром

иные из них начинают видеть в Милькееве надежду русской литературы.

Стихи Милькеева часто появляются в «Современнике». Московские и петербургские друзья его восторженно отзываются о них. Хомяков писал поэту Языкову 20-го марта 1840 года: «Милькеев, тебе неизвестный сибиряк, растет не по дням, а по часам и пишет славные вещи».

Друзья помогли Милькееву устроиться на службу. Ничего, что она дает мало и, порой, на обед приходится довольствоваться кружкой воды и ломтем хлеба, он привык к этому! Зато она не отнимает всего времени! Милькеев много пишет, читает, стараясь наверстать упущенное. Его поэтическая натура живо откликается на все впечатления московской жизни. Посещает он Кремль — пишет прекрасные стихи о царь-колоколе. Слышит концерт известного в те времена скрипача-виртуоза Буль Оле Борнемана и, зачарованный его мастерством, посвящает ему длинное стихотворение «Художник». Сухаревская башня и народная легенда о ней пленяют его воображение, и он печатает в «Современнике» большое стихотворение «Сухарева башня». Слышит он хор послушниц и не может не отозваться на это стихотворением «Затворницы», в котором много душевной боли о напрасно загубленных в монастыре молодых жизнях.

А друзья, между тем, не перестают заботиться о его воспитании. Правда, их опека доставляет чаще обиды и удары по самолюбию юноши, чем действительную пользу. Хомяков старается сделать из него доморощенного философа, обратить в свою веру и возит по московским домам, где усиленно проповедует идеи славянофильства и православия. Павлов желает приучить Милькеева к великосветской жизни и тащит его с собой в салоны, на великосветские вечера. Каролина Павлова в своем романе «Двойная жизнь» оставила нам память об одном из таких вечеров. Милькеев выведен в романе под видом поэта. Вот как она описывает его появление в салоне: «Поэт явился, застенчивый, не совсем ловкий молодой человек, в не совсем свежих перчатках. Он вошел с некоторым чувством робкой гордости в этот освещенный и просвещенный салон, где такие важные особы, такие прекрасные женщины собрались его слушать»... Но неожиданно появляется испанский граф, и о молодом поэте забывают. Литераторы московским домам не в диковинку, а испанский граф для них еще невидальщина. Лишь, спустя два часа, когда граф уехал, о поэте вспоминают, он сидит, оставленный всеми в углу гостиной. Начинается чтение. Поэт читает стихи «с тем же жаром, с каким говорил их в своей скромной комнате, наедине с самим собой»... Но от салонных завсегдатаев веет холодом, поэтический жар растрачивается попусту. Милькеева принимают после испанского графа, как десерт после изысканного обеда...

Все это болезненно сказывается на чутком самолюбии поэта. Он замыкается в себе, друзьям кажется диким, нелепым в своей обиженной гордости. Они не понимают его, да и не хотят, пожалуй, понять:

Возиться с нуждой и тоской дикаря
Нам некогда было...

— пишет Каролина Павлова в стихотворении памяти Милькеева. Он, учившийся на медные гроши, знавший нищету и голод, был, конечно, чужд всем этим сытым, избалованным богатством людям. Лишь помощь людей, искушенных в литературе, удерживает его в кругу Павловых и Хомяковых. Он пишет в альбом К. Павловой:

Мой жребий мрачен и несчастлив,
Никто мне в мире не родня,
Но я прославлен, горд и счастлив,
Когда вы хвалите меня.

Милькеев одинок в Москве, а «роковая черта в характере», как он сам говорил, «неодолимая робость», мешает ему найти истинных друзей.

7

Пир ненасыщенного слуха—
Пространство звуков золотых...

Е. МИЛЬКЕЕВ, „Беспокойство"

Талант Милькеева завял, не успев распуститься. Но и по тому, что было им опубликовано, мы можем говорить, что доля правды была в восторженных отзывах современников о самородке-поэте.

Первое же напечатанное им стихотворение подкупало читателя своеобразным ритмом, выразительными эпитетами и общим, необычным для большинства стихотворений того времени тоном:

Угас гигант — и мрак угрюмой
Распространился над землей,
Обвил ее, как тяжкой думой,
Широкотенной пеленой.
И будто заключен в оковы,
Мир неподвижен, глухо спит...
Кто совлечет с него покровы
И прелесть дня восстановит?

Многим стихотворениям Милькеева присущи философские мотивы. Он пытается осмыслить явления природы, их смену, текучесть, проникнуть во внутренний мир человека. Ряд стихотворений носят характерные заглавия: «Возрождение», «Утешение», «Беспокойство», «Воспоминание», «Смертному». На большинстве стихов этого цикла еще лежит печать поэтической неопытности, недостатка знаний, в них много риторической напыщенности. Но отдельные стихи превосходны и дают нам право говорить о больших возможностях Милькеева — философского поэта. В стихотворении «Возрождение» поэт пишет о торжестве весны, о смене времен года, о непрерывно повторяющемся возрождении природы.

Лишь один ты возрожденья
Не изведал, человек!

— грустно восклицает он. Но поэт не останавливается на таком пессимистическом умозаключении.

Нет, не гибнешь ты. Хоть годы
Изотрут тебя во прах,
Всевластитель ты природы,
Вечный в царственных правах.
Создаешь ты поколенья
Жизнью собственной и — вот
Бытия и возрожденья
Бесконечный пир цветет.

Нет, не увядает безвозвратно «блеск весенних дней человека», он повторяется из поколения в поколение.

Некоторые философские стихотворения Милькеева насыщены религиозными мотивами. Но и в них мы сталкиваемся с оптимистическим жизнеутверждением. Религиозность этих стихов не имеет ничего общего с официальной доктриной православия, которую настойчиво внушали поэту его московские друзья. Характерно стихотворение «Воспоминание». Поэт, «смиряя тревогу в груди уязвленной», бродит «меж дебрей туманных, меж скал и стремнин». Природа открывается ему во всей своей суровой, величественной красоте. Он находит общий язык с ней, на его голос откликаются «звучные скалы и дебри, и лес». Он слышит и понимает «речь говорливых ключей», «голос лебедя», «речь голубицы» и, охваченный глубоким умилением, чувствует великое единство природы, слышит «звук безначальной Причины», «сокровенный глагол божества».

Любовь к природе, тонкое ее понимание сильны в поэзии Милькеева. Пусть среди его стихов часты слабые, риторические, пусть в них не редки философско-абстрактные идеи, а порой и мистическая религиозность, за всеми этими внешними влияниями мы почти всегда находим здоровое жизнеутверждающее ядро. Поэт как бы все время мечется между своим видением реального окружающего его мира и теми философско-религиозными идеями, на которые натаскивали его московские друзья. В стихотворении «Затворницы» он рассказывает, как, блуждая «путем туманным» «грустный, одинокий», зашел он в храм, в надежде, что душу его «любовь и вера оживит». В храме поет хор молодых послушниц. Молитвенное настроение поэта сразу улетучивается. Его поражает нелепость контраста — мрачные своды храма и юная земная красота девушек. Он «к святой молитве охладел» и грустно размышляет:

Каких алмазов дорогих,
Какой красы, какого клада
Наш грустный свет лишился в них.
О, если б некой власти сила
Исторгла их из этих стен
И в мир обширный воротила —
К ним мир повергнулся бы в плен!

. . . . . .

Теперь под сводом темных келий
Постыло блекнет их краса.

И только после этого поэт спохватывается — настроение-то у него совсем не умиленное — и спешит закончить стихотворение так, чтобы его не обвинили в кощунстве.

По замечательной «Сцене канцелярской», написанной Милькеевым еще до знакомства с Хомяковым и Павловыми, можно судить о том, что Милькеев владел острым обличительным пером. Сцена эта метко и зло вырисовывает среду канцеляристов, их убогий внутренний мир, продажность и угодливость к вышестоящим. Замечателен в ней монолог повытчика, мастерски дающий образ старого канцеляриста с его казуистической диалектикой.

Высокие гражданские мотивы, как мы видим, еще приглушенно, робко звучат в поэзии Милькеева. Он не решается заговорить полным и своим голосом. Виной этому в значительной степени вредное влияние литературного окружения Милькеева. Известна меткая характеристика творчества К. Павловой, данная Щедриным — «мотыльковая поэзия», а взгляды Хомякова, Шевырева и других литераторов этого круга зачастую были реакционны, ориентировались на официальную уваровскую доктрину триединства — самодержавие, народность и православие. Но Милькеев чувствует неблагополучие в окружающем и не может удовлетвориться некритичным признанием действительности. В стихотворении «Колокол в Кремле» он символически рисует царь-колокол, лежащий у подножья колокольни Ивана Великого, как образ бессилия эпохи. Колокол жалуется поэту, что он обречен неметь «в бездейственном сне», тогда как создан был «с целью великой» славить мощь и силу России. Люди приходят к нему, дивуются на его величину, но

Их взоры, желанья, мечты — близоруки,
Одно любопытство к нему их влечет.

Колокол презрительно говорит о своих младших собратьях. Их трезвон — «лепет», они

И слышны и громки — затем, что их много!
Повисли высоко — затем, что легки!

Кто знает, быть может, не сложись так трагически личная судьба Милькеева, он нашел бы в себе силы освободиться от вредных влияний и, миновав эпоху поэтического безвременья, присоединил бы свой голос к Хору передовой русской поэзии. В эти же годы выпустил свой первый сборник стихов «Мечты и звуки» Некрасов. И трудно было услышать в слабых стихах этого сборника будущий мощный голос поэта-гражданина.

Плетнев писал о Милькееве, что «он исполнен выразительности оригинальной, он владеет самыми смелыми идеями и создал для их оттенков множество счастливых оборотов и выражений». Оценка эта быть может несколько преувеличена, но правдива. Профессор Азадовский в своей работе о Милькееве [1], кстати единственной в современной литературе, тоже отмечает «силу и выразительность стиха», богатство и разнообразие ритмов

[1] Сборник «Камены». Чита. 1922.

в отдельных стихотворениях Е. Милькеева, музыкальность его таланта, и, порой, высокую чеканку стиха. Образ и эпитет у Милькеева зачастую смелы и оригинальны: «широкотенная пелена», «несытый слух», тучи «беременные дождями», «мрак угрюмый», «глухой сон», «тысячезвездная печать», «звучные скалы»; «охладительные нужды»...

Милькеев непрерывно учится и растет. В его стихах мы находим и лермонтовские строки, и подражания Пушкину и более ранним поэтам — Державину, Батюшкову. В «Сцене канцелярской» чувствуется воздействие на поэта грибоедовского «Горе от ума». Сильное влияние на Милькеева оказывает творчество молодого Тютчева, стихи которого зачастую печатаются рядом со стихами Милькеева в книжках «Современника». Но это не слепое подражание. Поэт активно осмысливает близкое ему в творчестве разных поэтов — это творческая учеба подмастерья у мастеров. Кроме этого нужно помнить и о том, что только в Петербурге и в Москве Милькеев смог познакомиться с лучшими образцами русской поэзии. В далеком Тобольске он был почти лишен этой возможности. Он учится творчески и растет «не по дням, а по часам». Справедливо замечание проф. Азадовского, что период ученичества для Милькеева подходил к концу, у Милькеева уже было свое «лица необщее выражение».

Поэтический подмастерье готовился стать мастером.

8

Сын роковых забот и нужд
Без помощи, всем людям чужд
Роптал я, плакал, как ребенок...

Е. МИЛЬКЕЕВ. „Художник".

Но мастером сделаться ему так и не удалось.

С помощью друзей он выпускает в конце 1842 года сборник своих стихов. Книжка была подобрана плохо. В нее вошли около 70 стихотворений. Трескучие риторические стихи чередовались с посредственными, слабые, недоработанные — с хорошими, и трудно было различить в этом наспех сколоченном сборнике подлинные достоинства таланта Е. Милькеева. Друзья его еще раз оказали ему плохую услугу, которая окончательно добила поэта и так измученного сомнениями, недугами, отсутствием истинного друга, житейской неустроенностью, нищетой...

Перед выходом книжки в свет, имя поэта было впервые напечатано в журналах полностью. До этого он скрывался за подписью Эм-в.

В те годы выходило много сборников стихов. Например, только в первой четверти 1839 года были изданы «Стихотворения» Веронова, «Стихотворения» П. Праволамского, «Стихи» Стахия Краснова, «Блины», стихотворения И. Д., сборник стихов А. Орлова и другие. «Они так незанимательны, так слабы или бесцветны, что странно было бы подтвердить их в серьезном разборе, а шутить над ними скучно», так оценивал выход этих сборников журнальный рецензент. Чтобы избавить от этой участи сборник стихов Милькеева, друзья его поспешили перед выходом

книжки напечатать в «Москвитянине» и «Современнике» благожелательные заметки о поэте. В большой статье «О выходе в свет стихов Милькеева», напечатанной в № 8 «Москвитянина» за 1842 г. автор приглашал «всех просвещенных любителей поэзии встретить стихи Милькеева не с тем обидным равнодушием, с каким обыкновенно встречаются у нас стихотворения, а подарить им внимание, которого они достойны и которым почтил их сначала первый современный представитель Русской Поэзии».

Книжка вышла в свет. С трепетом ожидал Милькеев отзывов на нее. Они не задержались. Почти одновременно появляются две рецензии. Одна из них, напечатанная в «Отечественных Записках», принадлежит перу Белинского, а вторая — в «Библиотеке для чтения», написана Сенковским. Два совершенно противоположных писателя сошлись в одинаковой убийственной оценке сборника. Белинский отрицал даже наличие поэтического таланта у Милькеева. Сенковский в своем обычном издевательском тоне писал о самом Милькееве: «Нельзя не согласиться, что судьба иногда бестолково жестока: ну, что бы ей подсунуть поэту грамматику Меморского? А ведь не догадалась! Вместо того, вообразите, она, встретив поэта между звездами, схватила его за ногу, как некогда Юпитер своего неудавшегося сынка Вулкана, и бросила в Санкт-Петербург». Передергивая цитаты, усекая их произвольно, Сенковский делает выводы о полной бесталанности стихов Милькеева. Особенно обрушился он на стихотворение «Русскому вину». На его разборе Сенковский построил почти всю свою рецензию, издевательски заключая, что автор «всю свою надежду, касательно поэтического усовершенствования слова и просвещения людей, полагает на деятельность винных откупов»...

В суровой оценке Белинского играла большую роль, конечно, и та борьба, которую он вел с кругом писателей, покровительствовавших Милькееву. Пристрастность «Неистового Виссариона» иной раз мешала ему видеть литературные достоинства произведений. Так было, например, в оценке Белинским «Сказок» Пушкина, «Конька-горбунка» Ершова. Ошибался он и в категорической оценке Милькеева.

Только добрейший П. А. Плетнев откликнулся на сборник Милькеева благожелательной рецензией в «Современнике». «Перед нами собрание стихотворений поэта, которого по справедливости надо бы назвать замечательным между современными нашими талантами. Будучи всем обязан природному чувству и постоянному стремлению к самосовершенствованию, он довел свое искусство до обработки прекрасной».

Резкие отзывы о сборнике окончательно добивают Милькеева. Его московские друзья, поиграв для забавы с самородком и оказав ему медвежью услугу с выпуском сборника, бросают его после первой же неудачи. Его имя перестает появляться в журналах и о судьбе его после выхода сборника стихов мы ничего не знаем [1]. Известно лишь, что живет он в Москве, больной, страшно

---

[1] Не известна даже точная дата его смерти. В энциклопедическом словаре Брокгауза указывается 1840 г. Но это явная ошибка. Сборник стихов Милькеева вышел в 1842 г. Профессор Азадовский относит время смерти поэта на середину 40-х годов.

бедствует и, не выдержав всех несчастий, которые обрушились на него кончает жизнь самоубийством.

Стоял той порой он в своем чердаке,
Души разбивалася сила.
Стоял он безумный с веревкой в руке.
В тот вечер спросить о больном бедняке
Нам некогда было...

— писала К. Павлова в 1855 году в стихотворении памяти, Милькеева.

Мы закончим очерк выдержкой из стихотворения Милькеева «Художник», в котором много автобиографических черт:

С дней первых тяжкого ученья,
С дней первых избранного рвенья,
Судьба назло со всех сторон
Мне поставляла ряд препон,
Но постоянством терпеливым;
Самозабвеньем горделивым
Я влекся им наперекор
И побеждал забот напор;
И охладительные нужды
Сурово гнал перед собой...

Невелико место Милькеева в русской литературе. Он так и остался поэтическим подмастерьем, но в его беззаветном служении поэзии были все задатки мастера.

Б. БУХШТАБ

П. П. ЕРШОВ И Н. А. ЧИЖОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ КОНСТАНЦИЯ ВОЛИЦКОГО

Биографические материалы о крупнейшем сибирском поэте XIX века П. П. Ершове крайне скудные. Почти единственный источник биографии Ершова — это изданная в 1872 г. книга А. К. Ярославцева «Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-горбунок». Биографические воспоминания университетского товарища его». Ярославцев дружил с Ершовым в студенческие годы, затем Ершов уехал в Тобольск, Ярославцев же остался в Петербурге и дальнейшие сведения о жизни Ершова черпал из редких писем поэта к нему, а главным образом к их общему университетскому товарищу В. А. Треборну[1]. После смерти Ершова Ярославцев опубликовал извлечения из этих писем, присоединил к ним свои небогатые воспоминания, рассказы художника Знаменского о жизни Ершова в Тобольске, цитаты из предоставленных ему рукописей поэта и немногих писем его к своим домашним. Из всего этого получилась книга, освещающая жизнь поэта, разумеется, далеко не полно. Но, хотя со времени ее выхода прошло уже почти 75 лет, новыми материалами биография Ершова не обогатилась, если не считать нескольких опубликованных писем Ершова, истории Тобольской гимназии, отрывочных воспоминаний тоболяков...

В таких обстоятельствах едва ли не единственным путем для расширения наших сведений о жизни Ершова является тщательный анализ книги Ярославцева, полной недомолвок. Начать с того, что почти все фамилии друзей и знакомых Ершова у Ярославцева приводятся не полностью, а в сокращении. Надо прежде всего раскрыть эти криптонимы, познакомиться с упоминаемыми Ярославцевым людьми, проследить их судьбу, — это несомненно обогатит наши сведения о Ершове.

---

[1] В книге Ярославцева он всюду называется «Т-борн». Подлинная фамилия раскрыта по списку окончивших Петербургский университет в книге В. В. Григорьева «Имп. С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования», Приложение, стр. LXXII. Спб. 1870.

Опыт такой работы произведен мною в статье «Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов», напечатанной в пятой книге «Омского альманаха».

В первом же письме по приезде из Петербурга в Тобольск Ершов называет Треборну двух жителей Тобольска, с которыми он сразу сблизился: «В-лицкого, воспитанника Парижской консерватории, и Ч-жова, моряка, родственника (племянника) нашего профессора Д. С. Ч.».

В ближайших письмах Ершов восторженно отзывается о своих новых знакомых, из которых «В-лицкий» оказывается композитором, а «Ч-жов» — поэтом.

Я обратился прежде всего к «Ч-жову». Список профессоров Петербургского университета показал, что дядя Ч-жова Д. С. Ч. — это профессор математики Д. С. Чижов; список русских морских офицеров выявил, что в первой половине 19-го века был только один морской офицер Чижов,— а именно — декабрист Н. А. Чижов. Словарь декабристов подтвердил, что Н. А. Чижов был племянником профессора Чижова и поэтом. Правда, до сих пор не было известно, что Н. А. Чижов когда-нибудь жил в Тобольске. Он был сослан в Восточную Сибирь, затем назначен в солдаты в Иркутск, — и доселе предполагалось, что все десять лет своей военной службы Чижов там и провел. Ни в известных до сих пор мемуарах о Тобольске того времени, ни в переписке тобольских декабристов, ни в монументальном исследовании Дмитриева-Мамонова о декабристах в Западной Сибири Чижов не упоминается. Однако, удалось найти упоминание о нем в любопытном, давно уже опубликованном документе — письме наследника Александра Николаевича к Николаю I. Посетив во время своего путешествия по России Тобольск, наследник, по ходатайству генерал-губернатора, просил царя произвести Чижова в унтер-офицеры. Глубокие раскопки в старых тобольских газетах твердо установили факт длительного пребывания Чижова в Тобольске, в качестве солдата, а затем унтер-офицера 1-го Сибирского линейного батальона. Оказалось возможным отыскать и печатные стихи Чижова тобольского периода при чем выяснилось, что Ершов использовал свои литературные связи для публикации стихов поэта-декабриста. Выяснилось также, что Чижову принадлежат куплеты, до сих пор считавшиеся ершовскими и включенные в оперетту Козьмы Пруткова «Черепослов».

Затем я занялся вторым тобольским приятелем Ершова — композитором «В-лицким». Но результаты моих разысканий остались неизвестными читателям пятой книги «Омского альманаха». Настоящая публикация заполняет этот пробел.

«В-лицкого», как уже сказано, Ершов называет, вместе с Чижовым, в первом известном нам письме из Тобольска, от 16 октября 1836 г. «Каждую среду, — продолжает Ершов, — хожу в здешний оркестр, состоящий из шестидесяти человек, учеников Алябьева, которыми нынче дирижирует В-лицкий. Играют большею частью увертюры новейших опер и концерты».

В следующем письме — от 12 декабря 1836 г. — читаем: «Правда, здешние знакомства мои очень ограничены — два-три человека, но таких людей поискать и в Петербурге. Я, помнится, писал к тебе о них в прошедшем письме».

В письме от 5 мая 1837 года Ершов говорит: «Я теперь почти каждый день вожусь с одним композитором, которого судьба забросила сюда из Парижской консерватории. Он мне растолковал кое-что, и я теперь начинаю разбирать уже фуги и контрапункты»[1].

Таким образом, в первый период жизни Ершова в Тобольске его лучшими друзьями, очевидно, являлись Чижов и композитор «В-лицкий».

Фамилия эта уже раскрыта.

С. В. Максимов в книге «Сибирь и каторга» пишет:

«Известный русский композитор, сосланный в Сибирь из Москвы, Алек. Алек. Алябьев, автор пьес, ушедших в народ («Соловей», «Вечерком румяну зорю» и «Вечерний звон»), довел омский оркестр до замечательной степени совершенства[2]. Поляк Волицкий, бывший офицер польской армии, образовавший себя в парижской академии музыки в превосходного учителя и дирижера, в значительной степени поддержал в омском оркестре алябьевскую славу, так что до сих пор дух этих талантливых людей не перестает жить в омском казачьем оркестре»[3].

В заметке Л. М. «Алябьев за Уралом» этот ссыльный поляк Волицкий правильно отождествлен с «В-лицким» ершовского письма[4].

Обратим внимание на конспиративность Ершова: декабриста он назвал «моряком», а участника польского восстания — «воспитанником парижской консерватории».

Волицкий упоминается в связи с Ершовым в очерке истории Тобольской гимназии. Говоря о гимназических спектаклях, устраивавшихся Ершовым, автор указывает:

«Пьесы выбирались Ершовым с одобрения директора гимназии; заготовлением же костюмов, а также и гримировкою действующих лиц занимался сосланный в Сибирь по польскому восстанию 1830 г. граф Волицкий»[5].

Мы нашли упоминание о Волицком и в литературе о посещении Тобольска наследником:

«В собрании цесаревича с первого же польского поразила музыка. «Где вы достали такую музыку?» — обратился он к генерал-губернатору, на что тот отвечал, что оркестром Тобольск обязан Алябьеву, а затем капельмейстеру Волицкому»[6].

Возможно, что где-нибудь есть еще упоминания о Волицком, но кроме таких случайных упоминаний в русской печати о нем нет ничего.

---

[1] А. К. Ярославцев. Цит. кн., стр. 45, 47 — 48, 50 — 51.

[2] Речь идет о тобольском оркестре, переехавшем впоследствии вместе с корпусным штабом в Омск.

[3] С. В. Максимов. Сибирь и каторга. Ч. 3, стр. 34. Спб., 1871.

[4] Омская область № 7, стр. 60. 1939.

[5] С. Н. Замахаев и Г. А. Цветаев. Тобольская губернская гимназия. Историческая записка о состоянии Тобольской гимназии за 100 лет ее существования, стр. 165. Тобольск. 1889.

[6] Тобольск 2, 3 и 4 июня 1837 года. Тобольские губернские ведомости № 22, стр. 7. 1861.

Но поскольку Волицкий — композитор и участник польского восстания, естественно думать, что о нем должны быть польские материалы.

Действительно, в польской энциклопедии 1877 г. находим следующие сведения о Волицком:

«**Волицкий** Констанций 1805 — 1863, музыкант, учился в Варшаве, с 1831 по 1845 жил в Сибири, где занимался музыкой, по возвращении в Варшаву служил в юридической комиссии, не оставляя занятий музыкой. Написал много композиций, церковных и светских»[1].

А новая польская энциклопедия дает такие сведения:

«**Волицкий** Констанций, мемуарист, умер 1863; служил в войске 1831, 1833 арестован по делу Завиши, сослан в Сибирь, 1840 вернулся в Варшаву; сотрудник «Библиотеки Варшавской», написал «Воспоминания о пребывании в Варшавской крепости и в Сибири». Wspomnienia z czasow pobytu w cytadeli warszawskiej i na Syberji)[2].

Книга К. Волицкого под таким заглавием, действительно, издана во Львове, в 1876 г. и имеется в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Это томик небольшого формата в 288 страниц. Воспоминания Волицкого никогда, сколько нам известно, не упоминавшиеся в русской литературе, посвящены, в основном, жизни Волицкого в Тобольске в период с 1834 по 1839 год и чрезвычайно интересны для сибиреведа.

Волицкий приехал в Тобольск в августе 1834 г. и сразу познакомился со всем кругом польских ссыльных, очень обширным и включавшим, как оказывается из его мемуаров, ряд крупных и интересных личностей. Часть ссыльных поляков служила в солдатах 1-го Сибирского линейного батальона. Из русских же к их кругу был особенно близок Н. А. Чижов.

«Из русских, — пишет Волицкий, — находился там тогда Николай Алексеевич Чижов, бывший лейтенант флота, который, за участие в восстании при вступлении на престол Николая, был сослан на поселение с лишением всех прав в Иркутскую губернию, а впоследствии помилован в простые солдаты в Тобольск. Это был русский, но образование и благородные чувства снискали ему у всех нас уважение и приязнь» (стр. 73).

Итак, Чижов в августе 1834 г. был уже жителем Тобольска — и, видимо, относительно давним. А поскольку он только в конце 1833 г. был зачислен в «один из сибирских линейных батальонов», очевидно, что он, если не сразу был назначен в Тобольск, то, значит, почти сразу переведен туда из Иркутска.

Чижов упоминается в книге Волицкого еще один раз, — и это упоминание небезынтересно в связи с вопросом об авторстве куплетов к «Черепослову». Волицкий описывает детский спектакль с участием взрослых, устроенный, видимо, в начале 1836 г., в зале Тобольской гимназии, по предложению юнкера Чернявского;

---

[1] Encyklopedia ogolna wiedzy ludzkiej, т. 12, стр. 270. Варшава, 1877,

[2] Illustrowana Encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego, т. 5, стр. 1015. Варшава, 1928,

«Чернявский и Чижов написали пьеску, приноровленную к случаю, вроде опереткн, перемешанной с диалогической прозой, под названием «Удачный выстрел или Гусар-учитель» (стр. 162).

Музыка была написана Волицким. Спектакль имел большой успех.

В другой раз Волицкий сотрудничал с Ершовым. Подготовляя увеселения к приезду наследника Александра Николаевича, тоболяки задумали и любительский спектакль. «Был также, — пишет Волицкий, — проект представить на любительском театре оперу, приноровленную к случаю, под названием «Сибирский день», для которой текст написал учитель русской литературы в Тобольской гимназии Петр Павлович Ершов, известный поэт, создатель народной песни «Конек-горбунок», а к этой опере, естественно, я приделал музыку; но, увы, наследник не захотел восхищаться нашими талантами и опера моя осталась в портфеле, партитуру ее, однако, вместе с прошением об освобождении, я отдал в руки действительному статскому советнику Жуковскому, бывшему в свите наследника. За это пожертвование получил 500 руб. ассигнациями (около 150 руб. серебром)» (стр. 185 — 186).

Естественно ожидать, что из мемуаров Волицкого мы много узнаем о Ершове. Но здесь нас ждет разочарование. Волицкий писал свои мемуары для польского читателя и свои приятельские отношения с русскими оставил несколько в тени. При этом Ершов, очевидно, интересовал Волицкого гораздо меньше, чем Волицкий Ершова. Любитель польской поэзии, Волицкий, видимо, совершенно не интересовался русской: недаром поэта Жуковского он называет действительным статским советником Жуковским, а «Конек-горбунок» — народной песней (diesn udowa).

Ершов появляется в воспоминаниях Волицкого еще только один раз. Описывается поездка из Тобольска в татарское село у подножия горы Сузгун. Участников поездки мемуарист не называет, но из дальнейшего изложения оказывается, что среди них был Ершов.

«До горы Сузгун доехать нельзя, — пишет Волицкий, — а пешеходный путь через болота труден; итак, только издали смотрели мы на гору, в то время как Ершов, дитя здешних стран, как поэт, рассказывал нам о сражениях и несчастиях последнего царя татарского. Ершов пошел навстречу нашей просьбе, и вот содержание его рассказа» (стр. 253 — 254).

Дальше излагается содержание легенды, явно послужившей основой для поэмы Ершова «Сузге», написанной в те годы. Но Волицкий об этом не упоминает.

Б. БУХШТАБ

НЕИЗДАННЫЕ СТИХИ Н. А. ЧИЖОВА

В статьях о поэзии декабристов Н. А. Чижов не всегда даже упоминается. Причина этому — недостаточность материала. До последнего времени в поэтическом наследии Н. А. Чижова числилось только три произведения: «Журавли», «Нуча» и «Воздушная дева». Два первых заведомо относятся к периоду якутской ссылки Чижова; по предположению М. К. Азадовского и «Воздушная дева» написана в тот же период.

В своей статье «Козьма Прутков, П. П. Ершов и Н. А. Чижов», помещенной в пятой книге «Омского альманаха», я перепечатал два стихотворения Чижова, относящиеся к тобольскому периоду его жизни и затерянные в старых газетах. Там же установлена принадлежность Чижову куплетов, также написанных в Тобольске и вошедших впоследствии в оперетту Козьмы Пруткова «Черепослов»[1].

Надо полагать, однако, что все известные нам теперь стихотворения Чижова представляют лишь очень незначительную часть написанного им. В частности, давно известно, что и якутский период творчества Чижова отнюдь не исчерпывается тремя названными выше произведениями.

Во время производства следствия по делу о напечатании стихотворения «Нуча» в «Московском телеграфе», у Чижова была отобрана тетрадь стихотворений. 5 ноября 1832 г. якутский губернатор Цейдлер переслал эту тетрадь генерал-губернатору Восточной Сибири Лавинскому. «Стихи те сочинял, — пишет Цейдлер, — находящийся в Олекме Николай Чижов, в чем он сам сознался, и в приложенной тетради как означенные стихи «Нуча», так и в другом виде самим Чижовым писанные, в том удостоверяют»[2].

Лавинский переправил тетрадь в «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии». В неопубликованном отношении к начальнику Третьего отделения А. Х. Бенкендорфу он пишет:

«Помянутые стихи действительно сочинены Государственным преступником Чижовым, поселенным в Олекме, который сознал-

---

[1] В статье дана не полная библиография известных до сих пор публикаций стихов и прозы Чижова.

[2] *Н. Бакай.* О литературных занятиях декабристов в Восточной Сибири. Сибирские огни № 3, стр. 60. 1922.

ся, что оные написаны были им еще в 1827 или 1828 году без всякого намерения сделать их известными публике — в виде только пробы, можно ли из якутских преданий и поверьев извлечь что-нибудь для поэзии; что стихи сии оказались несовершенными и потому лежали около пяти лет между бумагами его почти забытые и что об них никто из живущих в Олекме совершенно не знал, кроме товарищей его, разделивших с ним ссылку в тамошнем крае, и именно: Андрея Андреева, жившего с Чижовым вместе пять лет, Захара Чернышева и Александра Бестужева, проезжавших за несколько лет перед ним через Олекму в Якутск и обратно».

«Нужным считаю, — пишет далее Лавинский, — поднести у сего отобранную у Чижова тетрадку, заключающую как Якутский рассказ, о коем идет дело, так и другие мелкие его стихотворения».

Б. Г. Кубалов указывает в своей книге «Декабристы в Восточной Сибири» (Иркутск, 1925):

«В Олекминске им написана целая тетрадь стихов; этот памятник скромного поэтического дарования молодого певца хранится и до сих пор в делах Третьего отделения» (стр. 48).

Покойный историк русской литературы Г. В. Прохоров, специально интересовавшийся поэзией декабристов, занимаясь в архиве Третьего отделения, скопировал эту тетрадь. После смерти Г. В. Прохорова вдова его Е. К. Нардова, узнав о моем интересе к Чижову, передала мне снятую покойным копию для опубликования.

По этой копии ниже и печатаются стихотворения Чижова, кроме напечатанных уже «Нучи» и «Журавлей».

Надо, впрочем, отметить, что стихотворение «Нуча» в рукописи дано не в той редакции, в какой оно известно нам по публикации «Московского телеграфа» и перепечаткам Н. Н. Бахтина и Б. Г. Кубалова. Так, 6-ая строфа в печатной редакции читается:

Но во мгле на брегу
Распознать я могу,
Будто в солнечный день,
Нучи скорбную тень.
Хищный вран на горах
Расклевал его прах.

Этой строфе в рукописи соответствуют следующие две строфы:

Кто ж стоит там один
На вершине стремнин?
Так, видал я в горах,
На скале барылах
Неподвижно стоит
И на месяц глядит!

Но вот бор зашумел,
Горный ветр налетел

И туманы попнал!..
Где же призрак? — Прюпал!
О! я видел как в день:
Нучи то была тень!

Приведем и другие крупные разночтения:

ПЕЧАТНЫЙ ТЕКСТ	РУКОПИСНЫЙ ТЕКСТ
Строфа 13:	
Раз осенней порой, Дружен с жизнью простой Шел он вслед тунгусам По пустынным хребтам. Путь змеей им лежал Меж разлогов и скал.	Раз осенней порой С верным псом и с толпой Кочевых тунгусов Шел он цепью гольцов. Тесный путь их лежал Средь потоков и скал.
Строфа 17:	
Нуча страха не знал, Был легок и удал. Он как горный орел К кабарге подлетел — Прочь она — он за ней Все быстрей и быстрей.	Нуча страха не знал, Был легок и удал. Он взлетел на утес — С ним винтовка и пес. Верный глаз и рука, Не оставьте стрелка!

В рукописном тексте больше примечаний, чем в печатном. Приводим отсутствующие в печатном тексте. Они любопытны, как отражение краеведческих интересов Чижова:

«Гольцами называются в Сибири высокие горы, коих голые и бесплодные вершины не производят никаких произрастений. На многих из сих гор снег никогда не растаивает.

Барылахи, деревянные или каменные истуканы, остатки прежнего идолопоклонства якутов, которым приносили они жертвы. Еще доныне встречаются барылахи в разных уединенных местах, и уважение якутов к сей святыне еще не вовсе миновалось.

Кабарга — род дикой козы, известной своею струею».

Помимо «Нучи» и «Журавлей» в тетрадь входят четыре неизвестных до сих пор лирических стихотворения и пять мелких стихотворений — эпиграмм, эпитафий и «надписей». Мы печатаем их в порядке их записи в тетради.

ВЗДОХ

Зачем во глубине души таимый,
Ты рвешься вон, как узник из тюрьмы?
Покорен будь судьбе непримиримой:
Умри среди молчания и тьмы!
Ты выскажешь скрываемые тайны,
Жилец души безмолвный и печальный.

Тебя стерегут, моих страданий вестник,
Безумие и ненависть людей,

И смех врагов, и разума наместник
Холодный иль пустой совет друзей.
К чему ж, раскрыв заветные скрижали,
В них начертать мне новые печали?

К N. N.

Глаза прекрасные и полные огня,
Что смотрите так быстро на меня?
Ужель на облике моем вы прочитали
Причину тайную моей печали?
И если все ваш острый взор проник,
Что крылося в душе моей глубоко,
Об чем молчал коснеющий язык,
Что смертного не достигало ока, —
Ужель на прах надежд моих разбитых
Бесчувственно падет ваш хладный взор,
И не прочтет в моих страданьях скрытых
Самим себе начертанный укор!

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО МУЖА

Корпя над книгами полвека,
Он был в безвестности велик,
Смотрел в очки на человека,
И мудрость прятал под парик!

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ КРАСАВИЦЫ

Непорочна — как весталка,
Как Урания — умна
И опасна — как Русалка
Сердцу бедному она!

ЭПИГРАММА

И вдохновеньем, и желудком
Обижен стал несчастный Тит:
Враждует первое с рассудком,
Последний устриц не варит!

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ СКРОМНИЦЫ

Как взор сей скромность выражает!
Он лучшею порукой в том,
Что с нею третий не узнает,
Про то, что сделано вдвоем!

ЭПИТАФИЯ

Он пал на берегах Эвфрата!
Завидна смерть его для нас:
На славной выси Арарата
Последний взор его погас!

ПРИЗНАНИЕ

Тоска души, души усталость,
Любви минутной краткий сон,
Разочарованная младость
И сердца полувнятный стон,

О днях протекших сожаленье
Холодность светская друзей,
И мыслей бурное волненье,
И утомление страстей —

Певал и я вас в лета оны,
Когда восторгами дыша,
Приличий строгие законы
Блюла покорная душа.

Теперь свидетель равнодушный
И порицаний, и похвал,
Не свету, разуму послушный,
Молву следить я перестал.

Пишу без всех предубеждений!
Но стих мой холоден и вял,
И прежних быстрых вдохновений
Летучий след на нем пропал!

СИБИРСКИЕ ЦВЕТЫ

В глуши лесов уединенной
Устрою домик я и сад, —
И будет мой приют смиренный
Милей мне каменных палат!

Не стану из краев далеких
Сбирать растенья в садик мой,
С полей отчизны, с гор высоких
Сберу цветы страны родной.

С долин Даурии гористой
Возьму роскошный **Анемон** [1],
Статис блестящий и душистый
И снежной белизны **Пион.**

Сберу **Фиялки** полевые,
Эмблему скромной красоты,
И колокольчики простые,
И гордой **Лилии** цветы.

---

[1] Все цветы, здесь упоминаемые, взяты из сибирской флоры См. географию Милыте-Бюна. (*Примечание автора.*)

С вершин высокого Алтая
Переселятся в садик мой
Спирей и **Астра** голубая,
Нарцис с завистливой красой.

Возьму душистых **Роз** махровых
С Саянских каменистых гор,
И **Сараны** цветов багровых —
Камчатки сумрачный убор.

Пускай приют мой небогатый,
В замену счастия даров,
Рукою Флоры тароватой
Украсит роскошью цветов!

Мая 4-го 1828.

Не будем утверждать, что публикуемые стихотворения Чижова обращают на себя внимание художественными качествами или оригинальностью. И «унылые элегии», и маленькие произведения «легкой поэзии» — в большом ходу у рядовых поэтов двадцатых годов. Но для нас эти произведения интересны именно как стихи, написанные поэтом-декабристом в сибирской ссылке. Ведь за словами о «скрываемых тайнах», о «судьбе непримиримой», об «узнике из тюрьмы» — в стихах ссыльного декабриста мы угадываем совсем не те чувства, какие вкладывали в эти обычные образы благополучные певцы «безыменных страданий».

Эпиграммы показывают нам остроумие, вкус к юмору, непропавшие у Чижова в бедствиях тяжелой ссылки, сказавшиеся и много лет спустя в его тобольских водевилях.

В стихотворении «Сибирские цветы», как и в «Нуче», как и в «Воздушной деве», Чижов дает один из первых образцов специфически-сибирской поэзии; только здесь он делает объектом поэзии не сибирские поверья, а сибирскую природу.

Интересна и «Эпитафия». Изгнанник, — офицер в прошлом, солдат и офицер в будущем, — завидует участи воина, павшего за родину на поле брани. «Он пал на берегах Эвфрата!» — Речь, значит, идет о погибшем в русско-турецкой войне 1828—1829 годов.

Похоже, что тетрадь включает стихотворения, написанные за недолгий период времени. «Нуча», как указано выше, по словам автора, написан в 1827 или 1828 году, «Журавли» в альбоме М. И. Муравьева-Апостола, по которому стихотворение было напечатано, имеют дату 1828 г., тем же годом датированы «Сибирские цветы», «Эпитафия» по содержанию относится к 1828—1829 годам. Естественно думать, что и остальные стихотворения тетради относятся к тем же годам.

Во всяком случае несомненно, что известными нам теперь одиннадцатью или (если верно предположение М. К. Азадовского о времени написания «Воздушной девы») двенадцатью стихотворениями творческая деятельность Чижова в Якутии не исчерпывается. При тетрадке Бенкендорфу была препровождена собственноручная записочка Чижова, представляющая перечень ряда его

стихотворений и прозаических произведений. Она сохранилась в деле. Вот ее текст:

1. Несколько мыслей об Русской поэзии.
2. Еким-Простота (повесть).
3. Письма с берегов Лены.
4. Тунисская пленница.
5. Отрывок из записок путешественника.
6. О любви к отечеству.
7. Мысли и замечания.
8. Поединок.
9. Кукольное царство. Автомат.
10. Прогулки по Лене.
11. Клад (повесть).

Стихотворения

1. Нуча. Якутский рассказ.
2. Вздох.
3. Журавли (с фр. переводом).
4. Глаза прекрасные.
5. Признание поэта.
6. Юным друзьям.
7. Надпись к портрету ученого.
8. Водомет.
9. К ранней птичке.

«Глаза прекрасные» — это то стихотворение, которое в тетради написано «К [illegible]», «Признание поэта» в тетради озаглавлено «Признание». Таким образом, шесть стихотворений списка вошло в тетрадь, но три стихотворения — «Юным друзьям», «Водомет» и «К ранней птичке» — остаются неизвестными. Очень любопытен и обширный список прозаических произведений Чижова, из которых «Письма с берегов Лены», «Прогулки по Лене», — а вероятно и некоторые другие, — отражают сибирские переживания автора. Но этих произведений у него не отобрали, и почти нет надежды на то, чтобы нам когда-нибудь стали известны эти ранние опыты сибирской прозы.

П. Л. ДРАВЕРТ

12 декабря 1945 года, на шестьдесят седьмом году жизни, скончался Петр Людовикович Драверт — старейший сибирский поэт, член редакционной коллегии «Омского альманаха», видный минералог и геолог, старший научный работник Областного краеведческого музея, член Комитета по метеоритам Академии наук СССР.

Жизнь и деятельность Петра Людовиковича каждодневно была связана со служением науке, с изучением еще мало исследованных «пришельцев» веселенной — метеоритов. В то же время Петр Людовикович был широко известен как поэт, вдохновенный певец сибирской природы, ее неиссякаемых богатств.

П. Л. Драверт родился в 1879 году в г. Вятке (ныне г. Киров). Высшее образование получил в Казанском университете на отделении естественных наук физико-математического факультета, где специализировался по минералогии. Еще находясь на студенческой скамье, он начал заниматься научной работой и поэтическим творчеством.

С 1900 по 1944 год Петр Людовикович совершил до пятидесяти поездок и экспедиций по Уралу, Среднему Поволжью, Башкирии, Восточной и Западной Сибири и Казахстану. В результате столь многочисленных экспедиций были собраны богатые образцы минералов, горных пород и окаменелостей. Он вел плодотворную работу по исследованию метеоритов. С 1925 года им написано до пятидесяти работ в этой мало известной области.

Краеведческая деятельность Петра Людовиковича началась 25 лет тому назад и не прерывалась ни на

один год. Его исследования богатств нашего края, геологические описания отдельных районов внесли ценный вклад в изучение геологии Сибири.

В 1945 году исполнилось 45 лет научной и педагогической деятельности П. Л. Драверта. За это время им написано около 150 научных работ и более 500 популярных научных очерков и статей. В последние годы профессор Драверт работал над составлением единственной в СССР библиографии метеоритов, но смерть прервала эту большую и нужную работу.

Свыше сорока лет продолжалась литературная деятельность П. Л. Драверта. Первые его стихи появились в печати в 1903 году, а первый сборник стихов вышел в 1904 году. Темой всей поэзии Петра Драверта была Сибирь, ее суровая и величавая природа, ее изумительные по разнообразию богатства. «Тебе одной мои напевы — стране холодной, но живой», — говорит он, обращаясь к «своей великой Сибири». Слово Драверта точно и четко. Он умел поэтически передать восхищение, охватывающее ученого перед редкими явлениями природы. Поэзия Драверта научна. Хорошо выработанный, музыкальный стих, разнообразный по метрической форме, но всегда остающийся в рамках классической метрики, был самобытным и звучал самостоятельно.

Поэтическую продукцию П. Л. Драверта составили пять стихотворных сборников, изданных поэтом в разное время, и несколько десятков стихотворений, не вошедших в эти сборники, опубликованных в газетах и журналах.

Драверт отдал Сибири все труды своей жизни, в том числе и свой поэтический талант.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Москалев. Стихи о труде. Карта. Конструктор. У мартена. Урожай. Поезд. Лесорубы. На раскопках. Летчик. Утром. Метель (стихи) . . 3

Сергей Залыгин. После войны (рассказы)

Дома 14

Хельма 18

Мих. Максимов. Баллада о весне. Ночью. Возвращение. „Не десять лет мы жили вместе". „Нет, не угрюмым стал и грубым". Баллада о шофере. Сыновья. Мы были там (стихи) 36

Виктор Утков. Подсолнух (очерк) 42

Семен Гудзенко. Лирическая хроника (стихи) 58

Марк Юдалевич. „Когда я мечтой крылатой". „Он был на фронте помкомвзводом" (стихи) 69

Клавдия Бурдыгина. Я вижу то, чего не видишь ты (этюд) 71

СТИХИ НАЧИНАЮЩИХ АВТОРОВ

Юрий Забинков. Граница. Лето (стихи) 74

Яков Журавлев. Из цикла „Возвращение" (стихи) . . 75

Ефим Жизаев. Письмо друзьям (стихи) 76

Георгий Нечаев. Домой (стихи) 77

Иван Коровкин. Березка. Пора любви (стихи) 78

М. Юрасова и А. Палашенков. В ханской столице (исторический рассказ) 79

НА СТРОЙКАХ НОВОЙ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Т. Гончарова. Самое гл 91
Г. Химич. Пятилетка Омской железной дороги 101

Г. Фельдман. Из путевых заметок. 109
Джон Мэйсфилд. Дорога на Тьюксбери (перевод В. Н. Энгельгардта). Западный ветер (перевод Н. П. Скрыпниковой) 113
Проф. М. С. Рабинович. Чехов и медицина (статья) . . 116
С. Жданов. 25 лет советского книгопечатания в Омске (статья) 128
М. Бударин. За полярным кругом (заметки журналиста) 135

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ В СИБИРИ

Бурмин. Поэтический подмастерье Евгений Мильков 145
Б. Бухштаб. П. П. Ершов и Н. А. Чижов в воспоминаниях Константина Волицкого 159
Б. Бухштаб. Неизданные стихи Н. А. Чижова. . . . 164

П. Л. Драверт (некролог) 171

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
3	10-я сверху	„Россия“.	„Россия“,
36	5-6-я сверху	в память битв отгремевших встал клен обугленным обелиском	клен обугленным обелиском в памяти битв отгремевших встал.
49	16-я сверху	многоценное	многоцветное
97	8-я сверху	Не технология	Но технология
122	21-я сверху	выплопотал	выхлопотал
171	10-я сверху	веселенной	вселенной

П. Л. Драверт

Редакционная коллегия: *С. И. Жданов* (ответ. редактор)
В. С. Курнева
Б. Д. Шишакин

Подписано к печати 31.V 47 г.
ПД22671 Тираж. 10 000 экз. Изд. Х-5.
11 п. л, 10,03 уч.-изд. л. Цена 5 руб.

Адрес редакции альманаха: г. Омск, ул. Ленина, 4, Омское Областное Государственное Издательство СГИЗа.

Типография издательства „Омская правда", Омск, ул. Декабристов, 47.
Заказ № 2129.

5 P.

0-50